

Эдит Пиаф Моя жизнь



Я не жалею ни о чем

Я умру, и столько всякого будут говорить обо мне, что в конце концов никто не узнает, чем же я была на самом деле.

Не так уж это и важно, скажете вы? Да, конечно. Но эта мысль не дает мне покоя. Вот почему, пока ещё не поздно, я хочу рассказать о себе, рискуя вызвать скандал, а также рискуя возбудить к себе жалость.

Я лежу на больничной койке и диктую свои воспоминания, которые поднимаются толпой, нападают на меня, окружают, и я захлебываюсь в них. Прошлое не стоит вокруг меня в образцовом порядке: я вижу лица, множество лиц, какие-то люди расталкивают друг друга и кричат: «Меня, меня сначала!»

Есть счастливые минуты — есть и другие, которых больше. Но что ещё может случиться со мной до того дня, когда надо будет свести последние счета? Там, наверху, я это хорошо знаю, я буду неустанно повторять, как в моей песне: «Нет, я не жалею ни о чем».

Моя борьба против болезни и смерти, на этот раз выигранная, но ненадолго, заставляет меня подвести итоги моей жизни. Сначала надо воскресить в памяти мое детство, юность. Они мне кажутся такими далекими, иногда совсем нереальными, и поэтому у меня бывает ощущение, что, говоря о себе, я могу невольно солгать.

Есть более интимные, искаженные слухами воспоминания, которые меня удручают. В своей исповеди я, с твердой надеждой на отпущение грехов, хочу раз и навсегда

освободиться от всего, хочу насколько смогу, объяснить, кто я и все эти женщины, которыми я была: девчонка Пиаф, просто Пиаф, Эдит...

Я вела ужасную жизнь, это правда. Но также — жизнь изумительную. Потому что прежде всего я любила её — жизнь. И любила людей: моих возлюбленных, моих друзей, а также незнакомцев и незнакомок, составляющих мою публику, для которой я пела, часто преодолевая себя, для которой хотела умереть на сцене, допев свою последнюю песню.

Я любила всех прохожих, которые узнавали и днем и ночью мою скромную фигуру, мою походку. Любила толпу, которая, я надеюсь, проводит меня в последний путь, потому что я так не люблю оставаться одна. Я боюсь одиночества — этого ужасного одиночества, которое охватывает тебя на рассвете или с наступлением ночи, когда спрашиваешь себя, в чем же смысл жизни и зачем ты живешь.

Все, чего я хочу, — чтобы прочитавший эту исповедь, которая, быть может, будет моей последней исповедью, прежде чем закрыть её, сказал обо мне как о Марии Магдалине: «Ей можно многое простить, потому что она много любила».

Мой мужчина... Мои мужчины

Любовь всегда от меня ускользала. Я никогда не могла долго удержать в своих объятиях того, кого любила. Каждый раз, когда и начинала верить, что нашла того, кто будет для меня всем, все рушилось, и я оставалась одна. Может быть, потому, что я никогда не была что называется красивой женщиной? Я это знала, страдала от этого, и мне необходим был реванш! А может быть, потому, что я обладала не очень-то верным сердцем, или потому, что быстро разочаровывалась.

Иногда достаточно было пустяка: маленькой лжи, грубого слова — и моя любовь мгновенно испарялась. Я переходила из одних рук в другие, надеясь найти в них чудо. Я всегда лихорадочно искала большую любовь, истинную. И может быть, потому, что я никогда не могла примириться с ложью, не могла примириться со скукой, у меня и было так много мужчин в жизни.

Сначала был Малыш Луи. Мне только-только стукнуло шестнадцать. Ему было семнадцать.

Ромео и Джульетта?

Увы, я слишком рано прошла уродливую школу жизни и любви, она не приблизила меня к романтизму. Не было возле меня матери, которая могла бы меня научить, что любовь бывает ласковой, верной, нежной, такой нежной...

Все свое детство я провела среди несчастных «девиц» в доме, который «содержала» моя бабушка, в Лизье. Потом, когда мой отец, уличный акробат, забрал меня оттуда, что я могла увидеть, странствуя с ним по деревням? Каждые три месяца — новая мать. Любовницы отца обходились со мной более или менее ласково, в зависимости от моих успехов (я уже пела тогда) и от сборов, которые я делала, обходя толпу, иногда получая монетки, иногда — насмешки.

Такое воспитание не сделало меня слишком чувствительным созданием. Я верила, что, если парень позовет девушку, она не должна отказывать ему. Я думала, что это предназначение всех женщин, и не долго колебалась, когда Малыш Луи поманил меня. Первый раз мы встретились с ним у Порт де Лиля. Я пела на улице вместе с отцом.

Малыш Луи был в толпе, которая окружала нас, пока я пела, и которая мгновенно рассеивалась, едва я начинала обходить её со своей тарелочкой.

Но он, высокий, светлый, улыбающийся, не уходил со всеми. Когда я подошла к нему со своим блюдцем, он посмотрел мне прямо в глаза, восхищенно свистнул и царственным жестом положил мне монетку в пять су.

Целыми днями он следовал за мной в моих долгих скитаниях по окраинам города. Однажды, когда отца не было рядом, Малыш Луи подошел, взял меня за руку и сказал: «Пошли. Будем жить вместе»

Похоже на дешевый бульварный роман — слишком все просто, я знаю. Но вся моя жизнь похожа на невероятный бульварный роман. А между тем все происходило именно так просто, как я об этом рассказываю. Малыш Луи сказал мне «Пошли...» И я пошла за ним.

Без тени сожаления я покинула своего отца, его относительную заботу, относительное покровительство.

Я пошла за Малышом Луи. Он казался мне красивым, сильным, единственным: я любила его.

Он служил мальчиком-рассыльным. Я продолжала петь.

Мы поселились в маленьком отеле на улице Бельвиль, в скудно обставленной комнатухе.

Я занималась хозяйством. Сначала стряпать приходилось в банках из-под консервов, но Луи каждый день, возвращаясь домой, с гордостью приносил тарелки, приборы, кастрюли, которые он воровал в кафе или на прилавках магазинов.

Мы платили за нашу жалкую комнату тридцать пять франков в неделю. По воскресеньям мы ходили в кино, в «Альказар», и Малыш Луи покупал мне билет за два франка.

Все это было чудесно, может быть, просто потому, что мы были молоды, ужасно молоды.

Вскоре я стала ждать ребенка. А потом родилась моя маленькая Марсель.

Мы были счастливы, как дети.

Но в этой безмятежной жизни мне смутно чего-то не хватало. Я всегда мечтала о поддержке, о сильной мужской руке, о настоящем мужчине.

Я знаю, что не святая: мне не хватит и десяти пальцев, чтобы сосчитать моих любовников. Очень легко бросить в меня камень.

Но я все время искала того; на кого могла бы опереться, кому могла бы довериться до конца.

Я искала и не находила. Может, в этом была моя судьба.

Малыш Луи был такой же ребенок, как я. И вот однажды я обманула его. Обманула с человеком более взрослым, более сильным. С «моим легионером».

Ох, как я любила его, моего легионера... Позже, когда я рассказала о нем Раймону Ассо, он написал песню, которая стала знаменитой. Долгое время я не могла её петь без волнения. Может быть, поэтому и пела её хорошо?

Мой легионер! Я потеряла его, конечно, потому, что не была создана для счастья.

Ради него однажды утром, без всякого предупреждения, я покинула Малыша Луи, забрав с собой свою маленькую дочь.

Но Луи разыскал меня в окрестностях Бельвиля. Он поймал меня, отнял нашу девочку и закричал: «Если ты хочешь видеть свою дочь, возвращайся домой!»

Я поняла, что если уйду с легионером, то никогда больше не увижу своего ребенка.

Я провела с моим любимым последнюю ночь и вернулась к Малышу Луи ради дочери.

Мой легионер любил меня. Он попросил назначение в Африку, уехал и там умер. О! Если бы моя жертва не была напрасной.

Но, увы! Вскоре моя бедная девочка умерла от менингита.

Малыш Луи, зная меня хорошо, сказал: «Теперь ничто не удержит тебя около меня. Я знаю, что теряю тебя навсегда. Ты была для меня принцессой из волшебного сна, но сон оборвался. Желаю тебе счастья!» И он исчез из моей жизни.

Мне было восемнадцать. Я знала жизнь только с её низменных сторон, не видела ничего, кроме безобразия и ужасов. Один Малыш Луи был другим. Но вот я осталась одна, и мне ничего не оставалось, как катиться вниз, в чем я быстро преуспела.

Я обосновалась на площади Пигаль, среди баров, сутенеров и пропащих девиц. Первый человек, в которого я там влюбилась, был сутенер, который сразу же хотел послать меня на панель.

Его звали Альберт. У него была красивая улыбка, черные глаза и широкие брови. При Альберте была и другая девица, Розита, которая «работала» для него на улице Бланш.

Он так властно подчинил меня себе, что я готова была сделать для него все что угодно, кроме одного требования... Может быть, потому, что хотя я и была очень непостоянна, я всегда была влюблена в любовь и не могла унизиться до того, чтобы торговать ею.

Мои категорические отказы вызывали у Альберта гнев. Между нами происходили чудовищные потасовки. Однажды, доведенный до бешенства, он вlepил мне пощечину. Тогда я укусила его и начала царапаться, колотить ногами. После часовой драки он сказал, задыхаясь: «Хорошо. Продолжай петь на улицах. Но каждый день ты будешь приносить мне тридцать франков, как Розита».

Я была привязана к этому человеку. Наша сделка казалась мне вполне естественной, и я даже чувствовала себя в выигрыше. Это было подобно счастью: я жила в районе Пигаль со «своим мужчиной». Но я была всего-навсего нищей девчонкой и вообразить себе не могла, что мой голос принесет мне известность и слава осветит меня своими лучами. Я пела, потому что иначе не умела зарабатывать себе на жизнь и содержать своего сутенера.

Но я пела ещё и потому, что только тогда чувствовала себя счастливой, совершенно счастливой. Потом я узнала, что это называется призванием.

Но такое призвание не удовлетворяло Альберта. Он требовал от меня других талантов, не только для получения большей выгоды, но главным образом для того, чтобы удержать меня. Таков закон этой среды: компрометировать мужчин и женщин, чтобы помешать им вырваться из-под власти преступного мира.

Как и все, я была «поставлена на работу». Я не хотела идти на панель? Отлично — моя добродетель оставалась в сохранности, но я должна была играть другую роль. Отныне я стала заниматься разведкой: моя миссия состояла в том, чтобы разыскивать богатых особ. Бродя по улицам со своими песенками, я должна была примечать дансинги, посещаемые хорошо одетыми женщинами, с драгоценными колье на шеях, с кольцами на пальцах.

По вечерам я сообщала о своих наблюдениях Альберту. Полученные от меня сведения он записывал в маленькую книжечку и в субботу вечером или в воскресенье, нарядившись в свой лучший костюм, отправлялся в одно из отмеченных мною заведений. Так как он был красив и уверен в себе, ему всегда удавалось обольстить какую-нибудь любительницу танцев.

На рассвете он предлагал своей даме проводить её домой, ссылаясь на то, что «район этот довольно подозрительный». И каждый раз уводил её в тупик Лемерсье, очень темную и пустынную улочку. Предательски зажимал ей рот левой рукой, лишая возможности кричать, а правой наносил своей жертве молниеносный удар, срывал драгоценности и отбирал деньги.

Я ждала его в кафе «Новый Афины». Когда ему все удавалось, он шел ко мне с широкой победной улыбкой и с оттопыренными карманами. Всю ночь он поил меня шампанским.

Но однажды Альберт поверг меня в ужас. Вместе со своим приятелем, Андре, тоже сутенером, Альберт хотел заставить Надю — чудесную белокурую девушку — торговать собой.

Надя была красива, нежна и наивна. Она была безумно влюблена в Андре. Я советовала ей: «Уходи. Ещё не поздно. Беги сейчас же, иначе ты погибнешь». Но она не могла расстаться со своим возлюбленным.

Как-то вечером Андре сказал ей: «Я с тобой достаточно цацкался. Если ты сегодня ночью не пойдешь работать, мы с Альбертом так тебе всыплем, что ни один мужчина не захочет на тебя смотреть».

Надя, вся в слезах, разыскала меня: «Я сделаю то, что он хочет. Все равно, мне лучше умереть, чем потерять Андре!».

Я пошла за ней по улицам Пигаль и видела, как она пыталась приставать к прохожим, и вдруг — побежала. Я кричала ей вслед, но Надя не обернулась. Я потеряла её в толпе. Больше я уже никогда не видела красивую Надю...

Через пять дней её тело выловила речная бригада: она бросилась в Сену.

Эта смерть была для меня спасительным толчком — как будто ударом кулака прервали кошмарный сон. Я поняла, в какой грязи увязла.

В этот день, окончательно отчаявшись, я решила избавиться от этих людей, выбраться со дна пропасти, в которую скатилась.

Я хотела стать такой же женщиной, как все. Я и не представляла себе, сколько мужества мне понадобится для этого: преступный мир так легко не отпускает.

В тот вечер, когда стало известно о смерти Нади, я, как обычно, ждала Альберта в бистро. Когда он появился, я плюнула ему в лицо, крикнув: «Ты меня больше не увидишь!» — и пустилась бежать, пока он утирался.

В течение нескольких дней все было спокойно, и я даже готова была поверить в чудо, поверить, что Альберт решил меня отпустить. Но глухой страх не оставлял меня: я слишком хорошо знала, что все это не заканчивается так просто.

Однажды вечером два человека остановили меня на улице: «Иди с нами. И без кривляний». Они привели меня в какую-то комнату и оставили там, заперев дверь на ключ. Всю ночь я ждала, полумертвая от страха. Рано утром я услышала шаги Альберта, поднимавшегося по лестнице. Дверь открылась, и Альберт вошел в комнату. В отчаянии, отступая от него, я закричала: «Ты можешь убить меня, подлый выродок, но я не вернусь к тебе!»

И тут произошло нечто невероятное. Альберт, жестокий Альберт, повалился на кровать, рыдая, наверное, впервые в жизни. Воспользовавшись этим, я выскочила за дверь.

Но это был ещё не конец. Как-то вечером, когда я сидела со своими друзьями в баре на площади Пигаль, ко мне подошли и сказали: «Альберт ждет тебя в «Новых Афинах». Он хочет с тобой поговорить. Если же ты не придешь, он явится сюда со своей бандой и устроит кровавую драку».

Мои друзья не хотели, чтобы я шла туда, и были готовы защищать меня: некоторые уже выхватили ножи, другие вооружились бутылками.

Чтобы избежать побоища, я встала со словами: «Я иду».

Альберт ждал меня, облокотившись на стойку бара. Его парни стояли на улице, руки в карманах, готовые в любой момент вмешаться. Он взглянул на меня и сухо произнес: «Возвращайся ко мне». Я отказалась. Тогда Альберт вынул револьвер, направил на меня и сказал: «Если ты ещё раз откажешься, я уложу тебя». Я закричала: «Ну так стреляй, если ты мужчина!» Взгляд его стал жестким, раздался выстрел, и я почувствовала, как что-то обожгло мне шею. Чудом я осталась живой. В тот момент, когда Альберт нажимал на курок, какой-то человек, стоявший поблизости, толкнул его под локоть, и он промахнулся. Охваченная ужасом, я убежала.

Вся эта история вызвала во мне отвращение к мужчинам и, наверное, должна была научить меня некоторой осторожности. А вместо этого...

Не то, чтобы я была «дьяволом во плоти», но я чувствовала неотвязную, почти болезненную необходимость быть любимой. И чем больше я считала себя некрасивой, презренной, совсем не созданной для любви, тем больше я ощущала потребность быть любимой!

Было у меня одновременно и трое: Пьер — моряк, Леон — спаги¹ и Рене — бывший шахтер.

С Пьером я познакомилась в баре отеля «Лунный свет», в котором жила. С Леоном мы познакомились на улице, а с Рене — в кабаре.

Я проделывала настоящие чудеса, чтобы встречаться со всеми тремя, бесстыдно врал им всем, но любила я только Пьера: он был так нежен, так терпелив и так безропотно

¹ Кавалерист из колониальных войск

переносил все мои фантазии. Когда мы познакомились с ним, я уже пела у Лепле в «Джернис».

Я работала, а он ничего не делал. Я зарабатывала немного денег, а у него не было ни одного су. Помню, мне как-то захотелось сделать Пьеру подарок. Я сказала ему: «Я подарю тебе новые ботинки». Мы пошли в магазин. Он перемерил массу туфель и выбрал очень красивую пару черных остроносых лодочек. Но он носил сороковой размер, а мне тогда казалось, что гораздо «шикарнее» иметь маленькую ногу. Я сказала: «Или я куплю тебе тридцать девятый, или останешься ни с чем». И Пьер вышел из магазина, жалобно постанывая, в ботинках, которые были ему малы. Они ему так жали, что он совсем не мог в них ходить. Я сжалась над ним: «Я куплю тебе ещё шлепанцы на меху. Ты можешь носить их на улице, когда идешь один. Но когда я рядом, ты должен надевать лодочки». Пьер согласился.

Конечно, история этого «трио» должна была плохо кончиться.

Пьер, Леон и Рене часто беседовали между собой, и вскоре выяснилось, что у них одна и та же женщина.

Леон исчез. Пьер остался. Но Рене жаждал мести. Потом он годами преследовал меня, и только совсем недавно я перестала его бояться.

Его месть началась тогда, когда я впервые в жизни должна была уехать в гастрольное турне. Последнюю ночь перед отъездом из Парижа я хотела провести с Пьером. Но Рене не собирался расставаться со мной и выслеживал меня. Это был крупный, сильный мужчина с грубым лицом, способным на убийство. И все-таки я смогла перехитрить его. У входа в магазин я сказала: «Подожди меня здесь, я сейчас вернусь», — а сама выбежала через другую дверь.

С Пьером мы встретились в его комнате на первом этаже, на улице Аббатов. Впереди у нас была целая ночь для счастья! Но ночь оказалась кошмарной.

В комнате было темно, но вдруг фары проехавшей машины осветили на потолке тень человека, которого я сразу узнала, это был Рене. Я бросилась к окну: он был там, на улице. Рене шагал под окнами взад и вперед, держа правую руку в кармане, где всегда носил нож.

Всю ночь его силуэт отражался на потолке, и всю ночь я удерживала Пьера, который порывался выйти к Рене. Я умоляла: «Не ходи, Пьер, он убьет тебя». Я-то знала, что в сравнении с сильным Рене мой Пьер не был атлетом.

В семь часов утра Рене ушел, а без четверти восемь я села в подъезд, который увозил меня в турне.

В течение многих лет Рене преследовал меня. Я видела его, неподвижного и молчаливого, в кабаре, в которых я пела, на перронах вокзалов, когда я возвращалась в Париж. Этот человек был не способен прощать и забывать.

Когда в 1938 году я должна была дебютировать в «Альгамбре», он позвонил мне по телефону. Я сразу узнала его прерывающийся голос: «Твой дебют не состоится». Это было за пятнадцать дней до премьеры. Пятнадцать дней тревоги.

По окончании премьеры, которая все-таки состоялась, выйдя из мюзик-холла, я искала глазами силуэт Рене, возможно, прячущийся в тени. Но ничего не произошло.

Я пошла с друзьями в «Мими Пенсон» отпраздновать свой дебют и вдруг позади себя услышала незнакомый голос: «Тебе повезло: Рене попал в тюрьму за применение оружия, он подрался в кафе».

Рене провел в тюрьме три года. Но и после освобождения он не успокоился. Это длилось двадцать лет!

Он вернулся в Лилль, и каждый раз, когда я пела в этом городе, я видела его фигуру или у входа в зал, или в ресторане, где ужинала. Я чувствовала его взгляд на своем затылке. Он всегда стоял неподвижно, а когда я проходила мимо, шептал, едва шевеля губами: «Я ещё не свел с тобой счеты».

Последний раз я видела Рене в 1956 году. В этот вечер он спокойно и медленно подошел ко мне, держа руку в кармане. Мне стало страшно. Но, вынув руку, он протянул

мне прядь светлых волос и единственную фотографию моей маленькой дочки Марсель, которую он украл у меня в 1936 году, чтобы всегда иметь возможность шантажировать меня, требуя возвращения к нему.

В этот вечер Рене сказал: «Возьми это. Теперь я понял, что потерял тебя навсегда».

Я почувствовала, что вновь стала свободной женщиной. Свободной для любви.

Мое непостоянство

Первый человек, который протянул мне руку помощи не для своей выгоды и не для того, чтобы сразу же сделать из меня любовницу, был поэт Раймон Ассо.

Когда он появился в моей жизни, я находилась в отчаянном положении: меня обвиняли в убийстве.

Луи Лепле, владелец знаменитого кабаре «Джернис» на улице Пьер-Шаррон, был найден мертвым. Все подозрения пали на меня. Почему? Из-за моего прошлого, конечно. К несчастью, я была на примете у полиции. Двухлетняя, я уже провела два или три года в районе Пигаль, меня видели с сутенерами, с ворами и мелкими хулиганами.

Достаточно часто меня увозила полицейская машина, а на набережной Орферв ещё не забыли выстрела Альберта.

Между тем я вдруг стала знаменитой. Благодаря своему голосу и этому человеку — Луи Лепле, обратившему на меня внимание, когда я пела на улицах. Он пригласил меня петь у него в кабаре, куда ходил «весь Париж». И все эти пресыщенные прожигатели жизни притихли, когда я запела.

Успех был неожиданный, а моя карьера была обеспечена, когда затерянный в толпе ежевечерних посетителей модного кабаре Морис Шевалье вдруг вскочил с криком: «Браво! У этой девчонки настоящее нутро!».

Казалось, пришел конец нищете, началась новая жизнь, я могла петь до изнеможения, целиком посвящая себя этой страсти. И вдруг — внезапная смерть Луи Лепле, при таинственных обстоятельствах, в турецкой бане.

Я не могу сказать, что полиция проявила ко мне бережное отношение. Напротив, она даже выказала особую ретивость: меня схватили, предъявили обвинение и допрашивали в течение многих часов.

Когда наконец меня выпустили, я чувствовала себя как выжатый лимон. Карьера моя лопнула. Все двери оказались закрытыми, все лица застывали в молчании при моем появлении. По телефону раздавались таинственные угрозы — этой силы моей старой компании пытались вернуть меня к себе.

И тогда я вспомнила Раймона Ассо — высокого, худощавого человека, который как-то сказал мне: «Я люблю тебя». Но я расхохоталась: он был слишком мил, слишком нежен, а я привыкла к «грубым натурам» и не оценила его романтического признания.

Раймон добавил: «Запиши мой телефон, Эдит. Может случиться, я тебе понадобится, тогда позвони мне, и я всегда приду к тебе на помощь».

Он ушел, а я прыснула ему вслед: «Что воображает себе этот тип? На что он мне может быть нужен? С ума сойти!»

Теперь я не смеялась. Я была затравлена, извела чудовищную подлость. Недолго думая, я набрала номер Раймона. А если и он предаст меня, как другие?

Когда он подошел к телефону, я сказала: «Раймон, ты был прав. Ты мне нужен, я совсем потерялась, мне страшно. Я могу наделать глупостей». После короткого молчания я услышала его спокойный голос: «Возьми такси, я тебя жду. Все уладится».

Все именно так просто и произошло. Я взяла такси, приехала к Раймону даже без чемодана. Он изменил мою жизнь.

Раньше я никогда не открывала ни одной книги: считала, что это буржуазные штучки. Правда, иногда я читала романы типа «Соблазненная в двадцать лет» — да и то лишь, чтобы позабавиться. Я погрязла в глупости, как маленькое нечистоплотное животное, и находила в

этом удовольствие. Чем глупее были мои идиотские песенки, чем уродливее я себе казалась, — тем лучше! Мне доставляло удовольствие разрушать, коверкать свою жизнь. В этом, наверное, выражалось мое отчаяние.

Раймон изменил меня.

Он сделал из меня человека. Ему понадобилось три года, чтобы меня вылечить.

Три года терпеливой нежности — чтобы заставить меня понять, что есть и другой мир, а не только тот — населенный проститутками и сутенерами...

Три года — чтобы уничтожить отраву площади Пигаль, смягчить воспоминания моего детства, несчастного и порочного.

Три года — чтобы научить меня верить в любовь, в счастье, в удачу, чтобы сделать из меня женщину и актрису вместо того феномена, чей голос ходили слушать так, как ходят на ярмарку глазеть на уродов.

И этого замечательного человека я все-таки бросила, именно тогда, когда это было для него особенно тяжело.

Не так-то легко исповедоваться в своих скверных поступках, но ещё тяжелее вспоминать причиненную другим боль, вспоминать, как толкаемая бесом, спящим в каждом из нас, не смогла удержаться от соблазна.

Когда я ушла от Раймона в 1939 году, я уже знала, что создана для того, чтобы петь о любви. После первого выступления в «Альгамбре» у меня был настоящий триумф. Я пела песни, написанные для меня Раймоном: «Мой легионер», «Большое путешествие бедного негра», «Вымпел легиона», «Я не знаю конца»...

Только благодаря ему мне удалось стать настоящей актрисой.

Раймон Ассо был мобилизован, когда я влюбилась в Поля Мерисса...

Раймон, я ведь уже просила у тебя прощения. Наши друзья знают об этом. Но сегодня я хочу ещё раз попросить у тебя прощения. Ты был такой добрый, такой милый! Я знаю, ты понимал: если я и переходила из рук в руки, то не потому, что была шлюхой, а потому, что искала такую любовь, которая перевернула бы всю мою жизнь.

Надо признаться, Полю не пришлось прибегать к каким-либо ухищрениям, чтобы меня соблазнить.

Во время войны, одна в Париже, я пела в «Ночном клубе» на улице Арсен-Уссей. Перед своим выступлением, около полуночи, я всегда заходила в бар «Каравелла» выпить бокал вина. Там каждый вечер, небрежно опершись о стойку, стоял бесстрастный элегантный человек, чаруя меня своим взглядом.

Это был Поль Мерисс. Я знала о нем только то, что как певец он ничего особенного собой не представлял (он выступал в кабаре «Амираль», конкурировавшем с моим).

Мало-помалу мы познакомились. Поль поражал меня своими прекрасными манерами и казался мне настоящим джентльменом. А чего бы я тогда не сделала, чтобы покорить джентльмена!

Ведь вы подумайте: до знакомства с Полем никто ни разу не подал мне пальто, никто никогда не открыл дверь, чтобы пропустить меня вперед! Он умел это делать как никто!

Однажды вечером он предложил: «Не зайдете ли вы ко мне после спектакля выпить бокал шампанского. Я пригласил кучу друзей».

Я с восторгом согласилась. Около двух часов ночи мы проводили его гостей и остались одни. В своей обычной равнодушной манере он сказал: «Там, кажется, осталось немного шампанского. Помогите мне его допить».

Когда мы допили, уже светало. Тогда Поль хладнокровно произнес: «Уже поздно, почему бы вам не остаться здесь? Ведь все равно этим кончится...»

Потом он посмотрел мне в глаза и признался: «Ничто меня так не раздражает в женщинах, как эта манера выжидать дни и месяцы, прежде чем сдаться. Для чего все эти кривляния, ведь мы же нравимся друг другу». Обезоруженная и пораженная, я ответила «да»... Наша связь продолжалась почти два года...

Только когда мы расставались, Поль утратил наконец то, что больше всего меня в нем бесило, — свою проклятую флегматичность.

В начале наших отношений я очень часто взрывалась. Он — никогда. В наших ссорах я приходила в неистовство, как идиотка, — он и бровью не шевелил. Наконец я решила, что он меня просто разыгрывает. Как-то я неслышно подкралась к нему на цыпочках и пронзительно заорала в самое ухо. Поль даже не вздрогнул. Тогда я начала крушить все подряд: швыряла стаканы о стену возле самой его головы, вопила, топала ногами, рыдала, оскорбляла, сама готова была разорваться на части. Поль спокойно лежал на постели, прикрыв лицо газетой, и только спросил меня: «Не сломай, пожалуйста, радиоприемник».

Однажды, для того, чтобы вывести его из себя, я сломала этот знаменитый приемник: когда я схватила его, Поль приоткрыл глаза, а я тотчас же швырнула приемник на пол и стала топтать его ногами. Тогда Поль, джентльмен, встал, подошел ко мне и сказал: «То, что ты делаешь, очень нехорошо». Затем дал мне пощечину и улегся обратно.

Я опять потерпела неудачу!

Из-за его хладнокровия я сходила с ума. И вот после очередной ссоры я заявила: «Между нами все кончено. Я ухожу», — и пошла обедать с Тино Росси к «Фуке».

Во время обеда я не могла говорить ни о чем, кроме Поля, которого любила, который выводил меня из себя и которого мне сейчас так не хватало. Тогда Тино, тайком от меня, позвонил ему и сказал: «Мы идем в «Динарзад», присоединяйся к нам. Она думает только о тебе».

Но это было бы слишком легко! Со мной так просто не бывает! Когда Поль появился, моя ярость мгновенно вспыхнула снова. Я при всех грозила ему разбить о его голову бутылку шампанского. Не сказав ни слова, он повернулся и удалился. Когда я вышла из ресторана, он ужал меня на улице у фиакра.

Была чудовищная потасовка. Я не желала ехать с ним, а он всячески пытался запихнуть меня в фиакр. Наконец ему удалось ударить меня кулаком и бросить на сиденье. Как только фиакр тронулся с места, я начала истошно орать: «На помощь!.. Полиция!.. Меня похищают...»

Когда мы подъехали к дому, Поль положил меня на тротуар, сел на меня и, крепко держа за руки, сказал кучеру: «Достаньте у меня из кармана бумажник и получите, пожалуйста, сколько следует».

Фиакр уехал. Поль потащил меня по лестнице. Я рычала от гнева, отбивалась, колотила его ногами. Наконец ему удалось втолкнуть меня в квартиру. Как только он отпустил меня, я снова кинулась к двери, чтобы вырваться. И вдруг остановилась.

Поль, жестокий Поль, изводящий меня своим хладнокровием, рухнул. Он сидел на ручке кресла и бормотал: «Я не могу больше, Диду. Прекрати! Я тебя умоляю! Не уходи!». Я была потрясена, и я осталась.

Наш союз не стал более спокойным. Я решила возбудить его ревность, думая этим крепче привязать. Ну и дрянь же я была! Я назначала свидания разным мужчинам в кафе. Идя по улице, я всегда чувствовала за собой Поля, который крался следом за мной. Он предпринимал невероятные предосторожности, чтобы я его не обнаружила. Скользил позади газовых фонарей, прятался за машинами, скрывался в подворотнях.

Он выслеживал меня и часами ждал на тротуаре. Однажды он ворвался в кафе, где я была с другим, и потребовал: «Немедленно возвращайся домой». Я покорно повиновалась. На улице, семеня рядом с ним, я говорила: «Поль, все это игра. Я глупая, я хотела, чтобы ты ревновал». Но Поль молча тащил меня за руку.

Придя домой, он начал с того, что переломал все, чем я особенно дорожила. Потом залепил мне такую пощечину, что у меня опух глаз и я три дня ничего не могла есть от боли...

В результате нас разъединила наша профессия, а не ссоры и драки. Поль почти все время разъезжал с концертами, я тоже. И в один прекрасный день мы просто не нашли друг друга. Поль спокойно, без криков и слез стал моим лучшим другом.

Мне было двадцать пять лет, я много пережила, но все-таки не знала настоящей любви. Моя любовь — это потоки лжи, ссоры, туманы, плач.

Помню одного композитора. Этот высокий, красивый, элегантный мужчина месяцами водил меня за нос и все твердил: «Дай мне ещё один месяц, чтобы развестись с женой. Потом я тебя никогда не брошу».

Но отважиться развестись он никак не мог, и однажды я сказала ему: «Если я пойму, что ты крутишь мной, я тебе изменю». Он «крутил», и я сдержала свое слово. На следующий же день я рассказала ему об этом. Но он был настолько самонадеян, что мне не поверил. Тогда я позвонила своему новому любовнику и передала композитору трубку. Он побледнел, как простыня, и сейчас же ушел.

К чему должен был привести меня такой образ жизни, к тому и привел: меня считали обыкновенной потаскушкой. Я стала притчей во языцех, «добрым гением» проезжих актеров.

Мужчины обращались со мной, как с «захваченной местностью».

И все-таки в глубине души я чувствовала себя неоскверненной, несчастной и совершенно чуждой этой позорной действительности.

Но по-настоящему я поняла, насколько опустилась, только в тот день, когда среди прочих друзей пригласила в номер отеля «Уолдорф-Астория», где я останавливалась в Нью-Йорке, американского киноактера Джона Глендейла.

После обеда, проводив своих гостей до дверей и вернувшись в гостиную, я обнаружила, что Джон исчез. Разыскивая его повсюду, я наконец нашла его, совершенно голого, в моей постели, курившего сигарету и совершенно уверенного в себе.

Я швырнула ему в лицо его одежду и выгнала вон. Потом в слезах повалилась на кровать и дала себе клятву исправиться.

Все эти потасовки, ложь, обманы не привели ни к чему хорошему. В результате моей нелепой жизни я прошла мимо большой любви, не распознав её.

В 1946 году я гастролировала в Греции, в Афинах. Каждый вечер, когда я уходила со сцены, мне подавали букет, составленный из одних и тех же цветов.

Я заинтересовалась, кто же мне их посылает. И вот, в один из вечеров, «он» пришел. Высокий, с темными вьющимися волосами, благородный и романтичный. Его звали Такис Менелас, он был драматическим артистом.

Как-то он привел меня к подножию Акрополя и заговорил... Луна, пение, доносившееся из города, и голос Такиса, горячий и страстный... Я чувствовала себя как юная девушка на первом свидании.

В течение недели меня переполняла его любовь. Такис умолял: «Останься. Если ты уедешь, я никогда больше не увижу тебя. Останься! Я разведусь ради тебя. Мы поженимся. Останься! Ради твоей славы. Останься со мной в этой чудесной стране». Но я ему не верила. Я сама уже так надругалась над любовью, что не верила больше ни во что, разве только так — в удовольствии.

Мы снова встретились через четыре года. Такис заехал в Париж по пути из Нью-Йорка, где отказался от сказочного контракта, славы и богатства, потому что страшно затосковал по родине.

Мы виделись с ним всего несколько минут. Губы его дрожали, когда он говорил мне: «Я знаю, что ты меня больше не любишь. Но я не могу тебя забыть. Для тебя, в память о тебе, я развелся».

В этот день я поняла, что по собственной вине прошла мимо счастья.

Он напомнил мне о себе ещё раз, во время моей последней болезни. Прислал образок, который я подарила ему на счастье. Он написал: «Он тебе нужнее, чем мне».

А теперь пришло время рассказать вам о человеке, который по-настоящему осветил мою жизнь и, конечно, изменил бы её навсегда, если бы смерть не прервала наши удивительные отношения. Вы понимаете, конечно, что речь идет о знаменитом чемпионе по боксу, Марселе Сердане.

Моя соперница — смерть

Я начала говорить о нем и остановилась, потому что мне это слишком тяжело, несмотря на время, несмотря на все, что потом прошло через мою жизнь, принося то радость, то горе.

И даже несмотря на мою последнюю любовь, такую неожиданную, такую живительную. Мой мальчик, мой муж, Тео, думаю, поддержит меня в последний мой час.

Но все-таки хорошо, что я говорю сейчас об этом: обо мне и Марселе Сердане.

Это удивительная, несравненная история любви. Любви, которая пришла ко мне в тридцать лет и одним ударом смяла мое прошлое: печальные интрижки, драки и мимолетные приключения.

Мое прошлое, сколько ночей оно не давало мне спать! Длинная вереница лиц, неотвязно преследующая меня; мой отец, заставляющий меня петь на улицах; его любовницы, то ласкавшие, то колотившие меня; Малыш Луи — мой первый возлюбленный; Альберт — сутенер с площади Пигаль, с которым я жила; Лепле — владелец «Джернис», в чьем убийстве меня обвиняли; и Раймон Ассо, и Поль Мерисс, и все мужчины, которыми я забавлялась или которые дурачили меня...

И все это далеко не всегда было красиво...

Вот почему мне необходимо сегодня говорить о Марселе и обо мне. Я хранила молчание об этих двух годах моей жизни. Я не могла даже думать о них.

Но я не хочу умереть, пока не скажу истинную правду о нем и обо мне.

Чего только не говорили про нас! Нас выслеживали, за нами подглядывали. Рассказывали отвратительные вещи. Меня обвиняли, что я украла мужа у жены и отца у детей.

Многие дорого бы дали, чтобы узнать про нас всякие подробности, и, не имея этой возможности, выдумывали что попало.

Теперь я вам расскажу всю правду о нас.

Да, я любила Сердана. Больше того, я обожала его, как бога! Чего только я не сделала бы для него!

Я хочу, чтобы он жил в памяти людей. Я хочу, чтобы все знали, какой он был великодушный, какой удивительный.

Я хотела бы крикнуть на весь мир: «Марсель Сердан преобразил мою жизнь!»

До него я была ничто. Нет, простите, я была знаменитой певицей, даже очень знаменитой. Но в моральном отношении я была ничто. Я считала, что жизнь лишена всякого смысла, что все мужчины — скоты, что остается только хохотать, петь и валять дурака, ожидая смерти. И чем раньше, тем лучше.

Один только Раймон Ассо пытался открыть мне иное существование. Но я его бросила, он был недостаточно силен, чтобы удержать меня. По правде говоря, я не любила его, просто мне нужна была его помощь.

Марсель вновь научил меня жить. Он вырвал из меня горькое жало безнадежности, отравляющее мне душу и тело. Он открыл мне радость, ясность и нежность существования. И весь мир осветился для меня.

Я вспоминаю, сколько людей, расположенных ко мне, спрашивали меня тогда: «Как вы можете любить боксера? Это же просто грубое животное?»

Грубое животное, которое могло давать им уроки великодушия!

Кстати сказать, я тоже не сразу распознала его.

Сначала он показался мне скупым. А скупость я считаю самым отвратительным пороком. И дело не только в деньгах, а... во всем поведении. Кто скуп на деньги, тот и сердцем скуп.

Бедный Марсель! Ему просто не хотелось в нашу первую встречу пускать мне пыль в глаза.

Это было в 1947 году в Нью-Йорке. Нас представили друг другу на каком-то коктейле. Марсель готовился к своему первому матчу в Америке, я была поглощена своими репетициями.

Нас было двое французов в Нью-Йорке. Двое французов, без друзей, погибавших от скуки.

Это должно было случиться. Марсель Сердан позвонил мне в «Уолдорф-Асторию» и пригласил пообедать. Я не заставила себя долго упрашивать.

Довольная и гордая, я быстро привела себя в порядок, надела свое лучшее платье. Марсель зашел за мной и сказал: «Идемте скорей, я голоден как волк». Я подумала: «Хорошо! Мы пойдем, наверное, в шикарный ресторан, устроим пирушку».

По дороге я семенила рядом с ним, громадным, как зеркальный шкаф. Вдруг он толкнул какую-то дверь и ввел меня в самую невзрачную забегаловку.

Сидя на табуретках перед стойкой, мы ели «пастроми» — переваренное сухое мясо. Потом он предложил мне стакан пива и порцию мороженого. Все это стоило ему сорок центов.

После обеда я съязвила: «Вам не грозит разорение, когда вы приглашаете на обед своих друзей». Это могло его обидеть, но он только немного удивился и, улыбнувшись, сказал: «А что нам мешает!» И повел меня в один из самых изысканных ресторанов Нью-Йорка — «Ле Гурме».

Там мы пообедали второй раз. Уже как следует!

По-настоящему я узнала Марселя только в следующую нашу встречу, спустя несколько месяцев, в Париже. Я встретила его на улице в довольно странном обществе: он вел под руку своего приятеля. Но это был не совсем обычный приятель... Араб, почти слепой. Меня это заинтриговало. Я проводила их и таким образом узнала целую историю. Этот несчастный был другом детства Сердана. Марсель решил спасти его от слепоты. Он вызвал его в Париж из Касабланки, оплатив все расходы на путешествие и на нужды больного. И теперь каждое утро провожал друга к врачу. Он окружил его любовью, подбадривал.

Я никогда не видела никого, кто бы с такой безграничной преданностью, с таким желанием помочь относился к другому человеку. И Марсель добился чуда.

Когда он провожал своего друга на самолет, улетающий в Африку, друг был здоров. К нему вернулось зрение!

А я была навсегда покорена и заморожена сердечностью Марселя Сердана.

Чемпион мира, богатый, обхаживаемый поклонниками, он мог бы себе позволить думать только о себе. Куда там! Вместо этого он посвящал себя другим.

Так я вдруг узнала, что он согласился совершить турне показательных боев в Провансе, вместо того чтобы отдохнуть после одного чрезвычайно трудного матча. Для того чтобы заработать? Нет, свой гонорар он пожертвовал детскому туберкулезному госпиталю.

Узнав об этом, я пришла в негодование. В это время я была в Нью-Йорке и оттуда телеграфировала ему: «Зачем? Если ты потерпишь поражение, ни одна собака тебе не поможет».

Он ответил мне длинным письмом, в котором объяснял: «Я видел их, этих ребят. Когда их ручки тянулись ко мне, я подумал: как хорошо чувствовать себя полезным. А деньги, что их считать?»

Примеров его доброты я могу приводить сколько угодно.

А вот случай, который меня особенно тронул.

Как-то он должен был выступить против одного старого боксера, который уступал ему в силе. Марсель собирался уже сделать нокаут, как услышал умоляющие слова: «Дай мне еще про держаться, Марсель, дай мне еще продержаться».

Тогда Марсель решил выиграть встречу по очкам и, не моргнув глазом, дал освистать себя зрителям.

Он рассказал мне: «Ты понимаешь, они свистели, а я так радовался, как никогда. Ты видишь, Эдит, в жизни всегда надо быть добрым!»

Иногда я фыркала и упрячилась. Но он был всегда терпелив и мог делать со мной все, что хотел.

Как-то вечером, когда я выходила из мюзик-холла «АВС», меня обступила толпа поклонников, с поцелуями, объятиями и просьбами дать автограф. Раздраженная, тщеславная, воспринимающая восхищение как должное, я растолкала людей, огрызаясь: «Оставьте меня в покое!» — и села в машину вместе с Марселем.

Мы проехали несколько минут, как вдруг я почувствовала что-то неладное. Сердан сказал мне: «Сегодня, Эдит, ты впервые меня огорчила». — «Я устала, Марсель. Разболтались нервы». Марсель молча посмотрел на меня и сказал: «Ведь эти люди ждали тебя, чтобы получить твой автограф, они принесли тебе свою любовь. Разве ты забыла, как в те годы, когда ты не была знаменитой, ты их ждала? Представь себе на минуту тот день, когда ты будешь их ждать, а они не придут».

После этого случая я никогда никому не отказывала в автографах, какой бы усталой ни была.

Однажды в Нью-Йорке Сердан доставил мне очень большую радость.

Я пела, и где-то к полуночи мне сообщили, что в Кони-Айлэнд ярмарочный праздник.

Марсель был со мной, он взял меня за руку и весело сказал: «Поедем, я покатаю тебя на деревянных лошадях».

Мы отправились, радуясь как дети. После манежа он повел меня кататься на американских горках. Он вопил от восторга, а я визжала от страха. Сотни людей стояли вокруг. Они кричали: «Это Сердан! Гип! Гип! Гип! Ура!»

Марсель шепнул мне на ухо: «Они узнали меня, а не тебя».

Я почувствовала себя задетой, как вдруг раздался голос: «Эдит! Спойте нам "Жизнь в розовом свете"!»

Все аттракционы были остановлены, наступила полная тишина, и я запела. Окончив песню, я повернулась к Марселю. Очень взволнованный, он сказал: «То, что ты делаешь, Эдит, много лучше того, что делаю я. Ты несешь им любовь и счастье».

При этих словах у меня потекли слезы. Я лучше Сердана! Это был самый прекрасный комплимент, который, однако, я не заслужила.

Стоит мне заговорить о Сердане, хотя бы только заговорить, как я становлюсь лучше. Он был лучше всех. Рядом с ним становилось возможным самое невероятное.

Вот что я до сих пор не рассказывала никому: я не хотела, чтобы насмешки скептиков омрачили самое необыкновенное, самое счастливое мое воспоминание.

Однажды я вымаливала чудо для Сердана, и небо вняло моим мольбам!

Это было за несколько недель до международного чемпионата, на котором Марсель должен был выступить против Тони Зэль. Я попросила его: «Послушай, поедем завтра в Лизье и помолимся за твою победу».

В соборе я с молитвой обратилась к святой Терезе. Я умоляла ее: «Для себя я ничего не прошу. Напротив, пусть все несчастья и страдания падут на мою долю. Я их заслужила. Но ему, ему, о чьих трудах и жертвах вы все знаете, пошлите победу в этой встрече, от которой так много зависит!»

Спустя несколько дней я собиралась отправиться с концертами в Нью-Йорк, где Марсель должен был дать бой.

Я укладывала чемоданы. У меня находилась моя подруга Жинет со своим мужем Мишелем. Вдруг мы переглянулись: сильный аромат роз наполнил комнату. Мы чувствовали его на протяжении нескольких секунд. Жинет и Мишель стали искать разбитый флакон духов, но напрасно. Я поняла, что это значило.

Я провела свое детство в Лизье и знала, что, когда святая Тереза даровала кому-нибудь свою милость, она посылала аромат роз. С этой минуты я была уверена, что Марсель Сердан станет чемпионом мира.

И все-таки неделю спустя, во время матча, я не решалась смотреть на ринг. Когда в знаменитом четвертом раунде Тони Зэль чуть не свалил Марселя, я думала, что умру.

Сидя в зале среди ревушей толпы, я молилась святой Терезе, я говорила ей: «Не забудьте, вы мне обещали, что он победит».

Я молилась и колотила обоими кулаками по шляпе сидевшего передо мной зрителя. После окончания встречи, когда победителя Марселя приветствовал весь зал, тип, сидевший передо мной, обернулся, протянул мне свою измятую шляпу и сказал: «Я дарю ее вам. В таком виде она мне уже не нужна, а вам она будет напоминать это радостное событие».

Вне ринга Сердан был самый нежный человек на свете. Я только два раза видела, как он дрался, и то это было из-за меня. Одному человеку он дал пощечину. Другого поколотил.

Первый рассказывал обо мне весьма неприятные сплетни. Марсель встретил его у «Ваграма». Добродушно улыбаясь, он подошел к этому молодчику, которому явно стало не по себе, и приветливо сказал: «Ну и сволочь же ты!» Затем вlepил ему чудовищную оплеуху и сейчас же обратился к своим друзьям с мольбой: «Уберите его скорей, скажите ему, чтобы он убирался». Этот здоровяк ненавидел драться, он боялся кого-нибудь покалечить.

Второй, кого Марсель хотел уничтожить, был журналист, один из наших общих друзей. Он напечатал в газете гнусную, лживую статью о Марселе и обо мне. Прекрасно понимая, что сделал подлость, он явился ко мне просить прощения и объяснить свой поступок. Он посмел прийти потому, что я всегда всем все прощала. И как раз в этот момент вернулся Марсель.

Когда он увидел того, кто предал нашу дружбу, Марсель побелел от бешенства. Он схватил журналиста за лацкан пиджака и протащил через всю комнату, нанося пощечины со всей возможной силой.

Тот ныл: «Прости меня. Марсель... Не бей меня больше. Марсель...» Но как с цепи сорвавшийся Сердан поставил его передо мной и приказал: «Плюнь ему в лицо».

Я хотела подчиниться Сердану, но была слишком взволнована. Я не смогла.

Тогда Марсель вытолкнул его за дверь, крикнув вслед: «Убирайся вон, и никогда не попадайся мне на глаза!»

Марсель не мог понять, как это люди могут быть нечестными. Он всегда оставлял свои деньги, бумаги, чемоданы, где попало. И самое интересное — у него никогда ничего не крали. Он не мог поверить в человеческую жестокость.

Это он учил меня, что самое главное — жить так, чтобы без стыда смотреть на себя в зеркало, чтобы не краснеть за свое прошлое. А я, что я дала ему взамен? Немного.

Когда я с ним познакомилась, я подсмеивалась над ним, над тем, что он никогда, ни в самолете, ни в поезде, ни у себя дома, не читал ничего, кроме «комиксов», историй про ковбоев и детективных романов. Я ему говорила: «Послушай, Марсель, ты должен читать другие книги».

И чемпиону мира я терпеливо подсовывала Жида, Стейнбека, Джека Лондона. Следила, чтобы он не прятал в этих книгах юмористические картинки.

Поначалу он смотрел на меня, как побитая собака, и жаловался: «Зачем ты это делаешь, Эдит? Зачем ты заставляешь меня читать, когда на улице такая погода и мне гораздо приятнее пройтись?»

Позже я жалела о своей настойчивости: он стал настоящим фанатиком книги и так пристрастился к чтению, что больше ничем не занимался. Даже когда он прогуливался по набережной, он только и делал, что рылся у букинистов. Он так погружался в чтение, что бывало даже не замечал, когда я приходила.

А еще я научила его одеваться. Раньше он напяливал на себя все, что попадется под руку. Обожал фиолетовые галстуки и рубашки в горошек. Но тут я навела некоторый порядок.

Марсель не расставался со мной, даже когда я пела. Со сцены я видела его в глубине кулис. Он меня слушал, следил за занавесом, сердился, когда кто-нибудь шумел. Он восторженно смотрел на меня и говорил любому, кто был рядом: «Вы посмотрите только! Такая пигалица... Как это она может так петь?»

Конечно, эта любовь была слишком прекрасна для меня. И беда опять вошла в мою жизнь. Страшное известие ошеломило меня. Самолет Париж — Нью-Йорк разбился у Азорских островов. Марсель Сердан был на борту. Марсель Сердан погиб.

В этот вечер я пела в Нью-Йорке на сцене «Версаля», одного из самых роскошных кабаре.

Я так жестоко страдала, что никогда не найду достаточно сильных слов, чтобы об этом рассказать. И тело, и душа мои были ранены насмерть. И все-таки я выдержала. Перед началом своего выступления я объявила: «Сегодня вечером я пою в память Марселя Сердана. Я буду петь для него».

Может быть, это удержало меня от самоубийства?

Нет, все, что я делала потом, было страшнее смерти.

В конце концов, мы не властны над нашей жизнью. Мужество в том, чтобы пройти свой путь, до конца.

К тому же и потом Марсель меня никогда не покидал. Даже теперь, когда мне надо принять какое-либо решение, я всегда спрашиваю себя: «А как бы Марсель поступил на моем месте?».

Тем хуже для скептиков, пусть подсмеиваются, но я после смерти Марселя поверила в спиритизм. Я поверила в предупреждения вертящегося стола.

Доказательства? Хорошо.

После этого ужасного вечера на каждом спиритическом сеансе вертящийся столик не переставал мне указывать некое число, всегда одно и то же: семнадцатое февраля... семнадцатое февраля... Каждый раз я спрашивала: «А это хорошая весть?» И столик отвечал: «Да».

Наконец наступило семнадцатое февраля 1950 года. В шестнадцать часов раздался звонок, и юный телеграфист вручил мне телеграмму. Читаю: «Эдит, приезжайте в Касабланку. Я хочу вас детей. Маринет».

Это была Маринет Сердан, жена Марселя. Я первым же самолетом полетела в Касабланку.

Она ждала меня в аэропорту. Мы бросились друг другу в объятия, мы обе рыдали. Потом я сказала: «Маринет, если я могу вам помочь, если я могу хоть немного заменить Марселя, если я вам когда-нибудь понадобится, я всегда сделаю все, что могу».

В этом я вновь обрела смысл жизни, я была спасена. Вскоре я занялась и сыном Марселя.

Тот, кто не понимает этого, не умеет любить по-настоящему, и потому любовь у таких людей уходит вместе со смертью. Они держатся только за мелочи жизни. А Маринет и меня Марсель научил другому.

Мой ад — наркотики

Как бы низко ты ни падал, никогда нельзя терять надежду.

После смерти Сердана, ровно через шесть месяцев, я пустилась во все тяжкие и докатилась до самой глубины бездны.

Хорошо мне было говорить себе: он меня не оставил, он охраняет меня оттуда; хорошо было повторять, что я обещала быть мужественной... Но я не выдержала удара, я обратилась к наркотикам. Это наложило печать на всю мою последующую жизнь, которая и без того началась с ужаса и грязи.

Может быть, потому и здоровье мое сейчас так подорвано, и я умираю преждевременно.

Несмотря на то, что в конце концов мне удалось победить болезнь, наркотики превратили мою жизнь в ад, который продолжался четыре года.

Да, в течение четырех лет я жила как животное, как безумная, для меня не существовало ничего, кроме укола, который приносил мне временное облегчение.

Мои друзья видели меня с пеной на губах, цепляющуюся за спинку кровати и требующую свою дозу морфия.

Они видели меня в кулисах, второпях делающую себе через юбку, через чулки укол, без которого я не могла выйти на сцену, не могла петь.

И даже это, даже мое искусство — ничто в мире не могло удержать меня, мое отчаяние.

Канун моей смерти я предвидела в одной песне, над которой работала. И если бы я могла выбирать, то хотела бы, допев, упасть на сцене, чтобы никогда уже больше не встать.

Восстанавливая в памяти то время, когда я была не что иное, как человеческое отребье, я хочу предостеречь тех, кто, как и я, после тяжелого горя ищут забвения в наркотиках или в алкоголе. Никто не пытался меня удержать, и я катилась по наклонной плоскости. Марселя больше не было. Я и не подозревала, что меня ждет, когда согласилась на первый укол. А кроме того, я решительно не предназначена для наркотиков.

Мой рок, мой ужасный рок, опять подстерегал меня. Где-то даже писали обо мне: «Стоит только Пиаф высунуть нос на улицу, как она сразу влипает в какую-нибудь беду».

Я попала в автомобильную катастрофу под Тарасконом, и часто жалела, что не погибла тогда. Я бы ушла к тому, кого не могла забыть.

Но, может быть, я еще недостаточно себя оплевала?

Меня вытащили из-под машины — груды металлических обломков — всю израненную, со сломанной рукой и перебитыми ребрами. Очнулась я уже в госпитале.

Каждое движение причиняло мне такое сильное страдание, что я не могла не кричать. И тогда одна из больничных сестер сделала мне первый укол. В одно мгновение боль прекратилась, и я почувствовала себя прекрасно.

Когда действие наркотика кончилось, мучения возобновились. Я потребовала еще укол.

Меня заставили терпеть до последнего. Но в конце концов все-таки сжалились надо мной и сделали инъекцию. Это был конец.

Однако меня перевезли в санитарной машине в мою парижскую квартиру. Там не было сестры, которая могла за мной наблюдать. Я умоляла всех друзей раздобыть мне морфия: это стало потребностью моего уже отравленного организма.

Все мне отказывали. Все, кроме моей подруги Жанин. Она навещала меня каждый день и тайком приносила спрятанную в сумке «дозу».

Она не успевала войти, как я вскакивала с постели. Встав на четвереньки, я искала шприц, который прятала то под кроватью, то в радиоприемнике, то за ванной, чтобы мои друзья не могли его обнаружить.

Задыхаясь, я приказывала Жанин: «Давай скорей!» И полузакрыв глаза, вонзала иглу. Мгновение спустя я чувствовала себя возрожденной и вытягивалась в постели, хотя и одуревшая, но наконец умиротворенная.

На наркотики я истратила целое состояние...

Чтобы обеспечить себя ежедневной дозой, я была бы готова на что угодно, — если бы у меня не было денег.

Но они у меня были. Я зарабатывала миллионы, спекулянты наркотиками знали это хорошо и пользовались этим вовсю!

Передо мной проходили странные, подозрительные типы. Я отлично знала, что они меня обкрадывают. Знала, что они пользуются моей слабостью, но не могла сопротивляться.

Это длилось целый год. Я стала неузнаваемой. Я дошла до того, что, несмотря на ежедневные впрыскивания, несмотря на увеличившиеся дозы, наркотики удовлетворяли меня ненадолго. Кроме того, мне некуда уже было себя колоть. Мои ноги в руки были сплошь покрыты огромными отеками.

Поскольку нехватка наркотиков давала себя знать, я так торопилась получить свою дозу, что даже не давала себе труда прокипятить шприц и колола себя прямо сквозь одежду.

Я, наверное, кончила бы сумасшествием, если бы однажды, в минуту просветления, не перешагнула порог дезинтоксикационной клиники.

Помню свой страх перед сиделкой: она — такая большая и сильная, я — хилая, трясущаяся, словно собственная тень. Сначала она меня раздела, обыскала и выкупала в ванне. Потом я узнала, что многие больные, поступившие сюда на лечение, прятали на себе — в волосах, под мышками — наркотики, чтобы не лишаться их во время пребывания в клинике. Я этого не сделала.

Лечение закончилось, я вернулась домой, но по-настоящему не вылечилась.

Я не знала или скорее не отдавала себе отчета в том, что меня ждет впереди. Однако врач, доктор Миго, предупредил меня: после дезинтоксикации всегда наступает нервная депрессия. Я твердо верила, что смогу ее преодолеть. Но на этот раз — не смогла справиться с собой. Наступил полный упадок духа. Время от времени мне казалось, что чья-то рука хватает меня за горло и душит. Тоска была порой совершенно невыносима. По ночам я с воплями просыпалась от кошмаров. Днем, распростертая в кресле, я была неспособна встать, пройти из одной комнаты в другую.

Мой импресарио Лулу Баррье навещал меня каждый день. По его глазам, мокрым от слез, я видела, как он меня жалеет. Я превратилась в форменную развалину.

Однажды меня так замучили угрызения совести, что я решила покончить с собой. Мрачный водевиль слишком затянулся, пора было опускать занавес. Иначе я рисковала закончить свои дни в смиренной рубашке.

Я все приготовила, растворила в стакане яд, оставалось только выпить. Но в этот момент веселая компания ворвалась в мою квартиру... просто чтобы сказать мне «добрый вечер». И опять — чудо или то, что казалось им, вмешалось в мою жизнь. Я не проглотила яд!

Я попросила сейчас же пригласить какого-нибудь врача. Мне его привели. Я сказала: «Вот контракты, которые я должна выполнить, посмотрите на меня! Я — развалина. Еле-еле могу говорить. Можете вы мне помочь?»

Он прописал мне уколы, которые могли, по его словам, меня стимулировать. Действительно, после первого я будто вновь родилась.

Еще бы! Мне ввели наркотик! Этот врач ничего не знал обо мне, а я его обманула. Сделала вид, что не знаю о содержимом ампулы.

Но это помогло мне вернуться на сцену, снова петь, радовать своих зрителей и зарабатывать деньги, в которых я очень нуждалась, чтобы жить так, как я привыкла.

На этот раз понадобилось совсем немного времени, чтобы я опять насквозь пропиталась наркотиками.

Я приходила к себе в уборную с опухшим лицом, с пустыми глазами. Гримировалась как во сне. Потом ждала, когда постучат в мою дверь и скажут: «Эдит, твой выход». Тогда быстро, приподняв одежду, я делала укол.

Однажды вечером я попыталась взять себя в руки и обойтись без морфия. Я сказала себе: «Ты должна сама от этого избавиться».

Это было ужасно! На сцене, ослепленная прожекторами, обливаясь потом, с безумно бьющимся сердцем, я вынуждена была вцепиться в микрофон, чтобы не упасть.

Я начала петь, но сразу же остановилась: я не могла вспомнить слова моей песни. Водворилась долгая тишина. Потом я услышала крики. Публика издевалась надо мной.

Я плакала и лепетала: «Я не виновата! Я не виновата! Простите меня!»

Итак, во второй раз я вернулась в дезинтоксикационную клинику. В течение четырех дней я думала, что моя голова лопнет. Тщетно молила об уколе. А ночью, прямо в халате, я убежала из клиники. Прошмыгнула мимо изумленного привратника, вскочила в такси и вернулась домой. Чтобы сделать себе укол.

Я не слушала друзей, которые хотели меня спасти, выставляла за дверь докторов, которые хотели мне помочь. И, несмотря на плачевное состояние, в котором я находилась и которое отлично сознавала, я решила поехать в турне с «Супер-Сиркусом»!

Это было в мае 1954 года. Никогда не забуду Голгофу этих девяноста дней. Городов, которые мы проезжали, я не видела. Не только города, но и ни одно лицо не запечатлелось в моей памяти.

Еще бы! Я представляла собой нечто вроде развинченной марионетки. Всякий раз, когда нужно было ехать, моя секретарша волокла меня до машины, и я сейчас же погружалась в тяжелую дремоту.

По приезде в следующий пункт меня втаскивали в мой номер в отеле и укладывали в постель. Затем я ждала Жанин, которую каждую неделю посылала в Париж за новой дозой наркотика.

Я была в таком состоянии, что часто путала слова в моих песнях или выдумывала другие. Мои музыканты должны были совершать чудеса, чтобы не разойтись со мной.

Это дьявольское турне закончилось в Шоле. После последнего выступления Лулу Баррье и моя секретарша завернули меня в одеяло и отнесли в машину. Всю ночь они меня везли. На рассвете, в третий раз за четыре года, я вошла в дезинтоксикационную клинику.

Доктор Миго печально приветствовал меня: «Опять вы!» Я ответила: «Это последний раз. Или я вылечусь, или покончу с собой».

Первые дни каждый раз, когда я требовала укол, мне его делали. Потом стали уменьшать дозы.

С этого момента мой совершенно отравленный организм начал причинять мне невыносимые муки.

Сперва мне делали десять уколов в день, потом четыре. Один — утром, второй — в полдень, затем — в четыре часа и последний — перед сном.

Но постепенно наркотик стали заменять безвредными впрыскиваниями. Иногда я этого не замечала, но, когда чувствовала, что укол не приносит мне облегчения, я приходила в неистовство из-за того, что меня обманывают.

Я все сметала с ночного столика, вскакивала с постели и, как фурия, все ломала и била в своей палате, пока сиделки не приходили меня усмирять. Это было отвратительно! Я была отвратительна! Как дикий зверь, сорвавшийся с цепи, у которого отняли его добычу.

Каждый день моя комната, моя одежда и я сама подвергались тщательному обыску. Персонал клиники отлично знал, какие дьявольские ухищрения применяли наркоманы, чтобы припрятать яд, который прежде чем убить, приводит их к полному нравственному и физическому падению.

Наконец наступил последний день этого, третьего по счету, курса лечения. Я должна была его прожить уже без единого укола. Это был самый длинный и самый ужасный день в моей жизни.

С одиннадцати часов утра до пяти часов вечера я вопила, как сумасшедшая. Я кусала простыни. В слезах каталась по кровати, хрипела с пеной у рта.

Я сходила с ума. Сходила с ума от этой жуткой необходимости, от страданий всего моего существа, изнемогавшего без наркотиков. Чудовищная борьба происходила во мне!

Но я хотела вылечиться, вылечиться... И я кричала об этом, корчась в судорогах, бросаясь на пол, вонзая ногти в паркет. Не испытавшие этих мучений, не могут их понять. Они подумают, что я преувеличиваю.

Доктор Миго ласково спросил меня: «Хотите укол? Последний?»

Помню, что я, прижатая к постели четырьмя сиделками, державшими меня, чтобы я не выбросилась в окно, ответила: «Ненавижу наркотики! Я хочу вылечиться».

Где только я нашла силы для такого ответа? В мире сверхъестественного. Пусть все смеются надо мной, я утверждаю это.

Одно явление спасло меня в последнюю минуту от самой себя. Ведь вся моя жизнь отмечена чудесами. Это будет, конечно, до тех пор, пока небеса не устанут спасать меня от последней катастрофы.

Это было лицо, которое неожиданно появилось передо мной, когда я корчилась от боли, и спасло меня на этот раз — лицо моей матери...

Матери, бросившей меня в двухмесячном возрасте, которую я нашла через пятнадцать лет в жалкой комнате на площади Пигаль, хрипевшую на постели: «Мне нужна моя доза... моя доза...»

Моя бедная мать! Четыре раза я пыталась помочь ей избавиться от ее порока, и каждый раз она снова возвращалась к нему.

Моя мать, которая умерла в августе 1945 года в полном одиночестве, в своей захудалой комнате, впрыснув себе слишком большую дозу морфия.

Да, лишь воспоминание о моей матери, ее лицо, извлекло меня из той трясины, в которой я барахталась.

Вечером меня покинули последние силы. Закрыв глаза, я неподвижно лежала и с трудом могла дышать.

Мне казалось, что я умерла. Доктор Миго, наклонившись надо мной, сказал: «Спасибо, Эдит, вы первый человек, которого мне удалось спасти от этого отвратительного порока. За всю мою практику мне ни разу не удалось по-настоящему вылечить наркомана. Вы — моя первая победа».

Я вылечилась, но мои мучения не кончились. Еще четыре остановки на пути к Голгофе.

Врачи предупреждали меня: «Остерегайтесь. После дезинтоксикации потребность в наркотиках снова появляется в последние дни третьего, шестого, двенадцатого и восемнадцатого месяцев, следующих за излечением».

Я ждала этих дней с ужасом.

В течение восьми месяцев, одна в квартире, я жила в диком страхе: вдруг все начнется сначала.

Я не выходила из комнаты, погруженной в темноту, и никого не хотела видеть.

Но настал день, когда я раздвинула шторы и раскрыла двери. Солнце осветило мое жилище, и я снова вернулась к жизни.

О хорошем и плохом

Случилось так, что своему первому мужу я сама сделала предложение! Неплохо для моей сентиментальной жизни!

В своей жизни я не испытывала недостатка в мужчинах, в хороших и плохих, в красивых и безобразных. Беда только в том, что тех, кто стремился ко мне, я, в общем-то, не любила по-настоящему; те же, кем я увлекалась, не любили меня или были несвободны.

Итак, после каждого романа я оставалась еще более одинокой, с новой раной в сердце, придающей каждый раз новый оттенок моим грустным любовным песням.

Я переходила от одного мужчины к другому, страстно желая остановиться. Но, не достигая цели, все больше и больше разочаровывалась.

Когда я познакомилась с Жаком Пиллсом, у меня тянулся безысходный, банальный роман.

Начался он вскоре после автомобильной катастрофы под Тарасконом, когда меня перевезли в мой слишком красивый дом у Булонского леса. Я осталась одна в постели: рука в гипсе, сломанные ребра, уколы морфия и все растущая тоска по Сердану.

В это время, просиживая часами, меня ежедневно навещал один человек. Его присутствие доставляло мне удовольствие.

Тонкий, обворожительный, с печальным взглядом. Это был знаменитый велосипедист, я предпочитаю скрыть его имя, чтобы уберечь от пересудов его семью, его детей.

Однажды вечером он сказал: «Я люблю тебя. Я знаю, что это неразумно, потому что женат. Но я все время думаю о тебе».

Я тоже его любила. Мы, конечно, стали любовниками. Но эта новая любовь не принесла мне радости. Мой чемпион не мог прийти ни к какому решению.

Он боялся причинить боль своей жене, но не хотел жертвовать и мной. Поэтому он вернулся к ней, когда я уехала в турне, и сейчас же оставил ее, когда я возвратилась в Париж.

Но я любила его несмотря ни на что.

Каждое утро, расположившись в своей машине на берегу озера в Булонском лесу, я смотрела, как мой велосипедист тренируется. Он говорил: «Хорошо! Катится как клубок!» Я соглашалась. Он говорил о своих соревнованиях, о передней шестерне, просил подержать хронометр... Меня это не очень занимало, но мне хотелось ему нравиться. Я делала все, что он хотел.

Но в один прекрасный день полиция постучалась в мою дверь. Классический случай: чемпион перевез ко мне свои вещи, а его жена подала в суд. Меня обвинили в укрывательстве. Хотели даже арестовать...

Наш роман принял печальный оборот. Мы могли видеться только тайком, пробираться, спасаясь от преследования, с поднятыми воротниками по черной лестнице. Все это так же противно, как и смешно.

Никакая любовь не устоит против столь дешевых трюков. И наша постепенно истощилась. Как раз в это время мне позвонил Жак Пиллс.

Это было в мае 1952 года после его возвращения из Соединенных Штатов. Жак сказал: «Я написал для тебя песенку, послушай ее».

Его пианист, никому неизвестный в то время Жильбер Беко, уселся за рояль, и Пиллс спел: «Я втрескался в тебя...»

Песенка мне понравилась. В течение двух недель Пиллс приходил ко мне репетировать. Между делом мы разговаривали, рассказывая каждый о себе. И опять я влюбилась!

На этот раз я думала: «Вот оно! Я нашла любовь, которая мне нужна. С ней я могла бы прожить всю жизнь! Наконец-то муж!»

Но Жак был застенчив, я видела, что он сгорал от желания признаться в любви. И едва он открывал рот, я ждала: сейчас признается. Но нет, его адамово яблоко ходило вверх-вниз, он глотал слюну и молчал.

Так длилось две недели. Наконец, прощаясь как-то вечером, он сердито буркнул: «Я тебя люблю». Не колеблясь, я ответила: «Твою любовь надо проверить, Жак! Если я попрошу тебя жениться на мне, ты согласишься?»

Жак схватил меня в объятия, захохотал, как мальчишка, и сказал: «Когда хочешь! Где хочешь!» Я нашла это очаровательным...

Я часто вспоминаю день нашей свадьбы в октябре 1953 года, в Нью-Йорке.

Перед самой церемонией я заметила, что Жак чем-то смущен. Он вздыхал, вертелся. Я сказала: «Ты что-то от меня скрываешь!»

Стыдливо опустив глаза, Жак признался: «Диду, я тебе солгал».

Я уже предчувствовала катастрофу, уже видела свое счастье, разлетевшимся в прах, как вдруг, смущаясь, как школьник, застигнутый врасплох, Жак пробормотал: «Я убавил свой возраст. Я сказал тебе, что мне тридцать девять, а мне сорок шесть!»

Милый, милый Жак, он уменьшил свои года, чтобы меня обольстить!

Мне всегда говорили, что самый счастливый день в жизни молодой девушки — день ее свадьбы.

Молодая девушка, была ли я когда-нибудь ею?

И все-таки день моей свадьбы был действительно одним из лучших дней в моей жизни. Я чувствовала себя очистившейся, возрожденной.

Я была в светло-голубом платье. Многие этим возмущались. Но я так мечтала об этом платье. Ведь у меня не было белого платья даже в день моего первого причастия, вы понимаете почему? Тогда я бродила по дорогам со своим отцом-акробатом, из деревни в деревню, собирая деньги после его выступлений.

Чтобы как-то загладить это жалкое, грязное прошлое, мне хотелось в день своей свадьбы надеть светлое платье. Я хотела все начать с нуля. Меня считали циничной, коварной... а я — романтична и доверчива.

На шею я надела талисман — золотой с рубинами крестик, подаренный мне Марлен Дитрих, моим свидетелем.

Я нервно сжимала этот крестик в одной руке, а другой крепко вцепилась в руку Жака. Я лихорадочно молилась: «Боже мой, только бы все это было настоящим! Только бы я была счастлива! Только бы мне больше никогда не оставаться одной! Никогда».

Я была счастлива с Жаком. Да, несмотря на все мои зловключения, я тоже узнала спокойное счастье молодоженов.

И потом Жак был великолепен!

Он никак не притеснял меня, он понимал, что я не могу жить в клетке, что, если почувствую себя взаперти, вое переломаю и убегу; он не мешал мне жить и думать.

Наверное, я часто невольно причиняла ему огорчения. Но он был несокрушим как скала.

Не знаю, как вы, но, если мне кто-нибудь не нравится, если я замечаю у кого-нибудь поистине невыносимую физиономию, я должна это высказать.

Иногда в шикарном ресторане или в модном баре появлялась какая-нибудь личность, сразу вызывавшая во мне неприязнь.

Несомненно, мое поведение ставило Жака в очень затруднительное положение. Его, такого воспитанного. В этих случаях наши диалоги всегда были на один манер. Я нападала, внезапно «заводясь» по поводу какого-нибудь типа за соседним столиком: «Ты не находишь, что у него гнусная физиономия?» — «Да, — соглашался Жак, — но, пожалуйста, будь умницей и не сообщай ему об этом». — «Нет, я не буду умницей, а пойду и скажу этому типу, что я думаю о его физиономии». — «Эдит, я прошу тебя», — «Нет, он мне не нравится!» Я подходила к соседу или кричала из-за своего стола: «У вас жуткая физиономия!»

Жак с неизменной улыбкой извинялся перед оскорбленной личностью и улаживал скандал.

Для женщины моего возраста я вела себя как уличная девчонка. Надо, конечно, признать, что я не всегда была в нормальном состоянии... особенно в период наркомании.

По вечерам, когда я шумела со своими друзьями в гостиной, Жак никогда не ворчал, никогда не раздражался, а, укрывшись в закутке квартиры, передвинув туда пианино, работал, репетировал, играя и напевая под сурдинку.

Такое поведение отнюдь не было проявлением его слабости. Напротив, после Сердана он был самый сильный, самый надежный человек, какого я знала.

Кроме того, без него я бы умерла.

Это он заставил меня отказаться от наркотиков. Это он три раза отправлял меня в дезинтоксикационную клинику. А если понадобилось бы, отправил и в четвертый.

Он внушал мне безграничное доверие.

Только ему одному я могла рассказать свою жизнь без прикрас, без лжи.

Ему я могла сказать все: он не осуждал людей, а старался понять. Это очень редкое свойство — знаю по собственному опыту.

Но однажды я внезапно поняла, что мое счастье недолговечно. Сознаюсь, я всегда была суеверна, придавала большое значение случайностям. Когда я поняла, что мое счастье доживает последние дни, мы были безоблачно счастливы! Но Жак в этот день снял свое обручальное кольцо.

О нет, он не спрятал его, как это делают некоторые мужья, встречаясь с другими женщинами!

И все-таки на меня это произвело ужасное впечатление.

Еще в день нашей свадьбы я просила его: «Поклянись мне никогда не снимать обручальное кольцо. Это принесет нам несчастье». Он поклялся.

Через два года я снималась в фильме в Виши. После съемок я зашла за Жаком. Он готовился выйти на сцену. Я с любовью взглянула на него. Он нежно улыбнулся. В этот момент костюмерша вошла в уборную и сказала: «Не забудьте снять ваше обручальное кольцо, месье Пиллс».

Привычным жестом он положил его в карман. Значит, он не сдержал своего обещания! Он согласился снимать кольцо перед выходом на эстраду.

Я закрыла глаза, чтобы не видеть, какую он скорчил гримасу. Я закрыла глаза, чтобы скрыть свои слезы. Но именно в этот момент мной овладело страшное предчувствие, что наша любовь кончена, что она движется к концу. Я была права.

Через два месяца мы развелись. Еще раз любовь двух знаменитостей умерла, столкнувшись с неизбежными проявлениями реальности.

Больше мы с Жаком никогда не встречались.

Нас разъединила наша профессия. Я пела в «Версале», а Жак — в «Ви ан роз». Это было дурным предзнаменованием. Если супруги не видятся каждый вечер, им нечем питать их любовь.

Присутствие Жака придавало мне силы, мне так не хватало его, когда он не бывал рядом со мной. Тогда ко мне возвращалась моя прежняя слабость, какое-то бессознательное безволие. И как пузырьки воздуха, которые лопаются на поверхности пруда, поднимались бурные воспоминания. Я снова чувствовала себя одинокой, обделенной, вспоминала смерть Сердана... И искала утешения.

Когда Жак узнал, что один из окружавших меня мужчин начал ухаживать за мной и это мне не неприятно, он сказал с такой грустью, что я залилась краской стыда: «Диду, прежде чем нас настигнет катастрофа, давай расстанемся». Он пристально посмотрел на меня, поцеловал руку и добавил: «Это сильнее тебя, ты всегда будешь играть с любовью».

Он имел право это сказать. Но за эту игру я дорого заплатила.

Когда мы расстались, я пролила много слез. И если бы не Тео теперь...

После Жака я снова пустилась в бесконечную погоню за любовью. Но я искала ее с завязанными глазами, словно играла в жмурки.

Вот — любовь, думала я, но нет — это опять не она!

Я расставалась с одним мужчиной и тянулась к другому. Я могу перечислить имена, ставшие знаменитыми, и имена, оставшиеся в тени. Какой в этом смысл? Все истории почти всегда на один и тот же лад.

Правда, был один мальчик, которым я дорожила, Дуглас Дэвис. Он погиб, как и Сердан, в воздушной катастрофе. Появился он в моей жизни в то время, когда один человек заставил меня чудовищно страдать. Не хочу даже произносить его имя: он слишком грубо обошелся со мной.

В феврале 1958 года я вдруг плохо себя почувствовала на сцене. Врачи сказали: «Завтра же надо делать операцию. Это очень серьезно».

Измученная, я спросила его (мы прожили бок о бок почти год): «Скажи, ты еще любишь меня?» Не взглянув на меня, он сухо ответил: «Ты мне надоела: и отлично это знаешь. Такова жизнь».

Я была потрясена. На следующий день меня отвезли в Пресвитерианский госпиталь на 168-й улице; я мечтала умереть во время операции.

Когда я пришла в сознание, мой импресарио Лулу Баррье сидел у моего изголовья. Я сказала ему: «Лулу, должен же быть на земле хороший человек...»

Лулу постарался меня успокоить и ушел. Только он успел выйти из комнаты, как раздался телефонный звонок — звонил Лулу: «Я встретил хорошего человека, какого ты настойчиво требуешь. Он поднимается в лифте. Сейчас придет».

Спускаясь от меня, Лулу увидел молодого американского художника, Дугласа Дэвиса, ожидавшего в приемной. Он так робко просил Лулу добиться у меня разрешения писать мой портрет, что...

Дуг уже стучал в мою дверь. Его открытый взгляд, приветливая улыбка снова вызвали во мне желание жить. Целый месяц он пересекал на метро весь Нью-Йорк, чтобы посидеть со мной часа два. Первый раз я поцеловала его, когда он явился с пятью разноцветными воздушными шарами, трепетавшими в воздухе на своих веревочках. Он вез их в метро

несмотря на насмешки пассажиров и подарил мне, потому что я рассказывала о красном шаре — мечте моего детства, которую отец не хотел осуществить.

В этот день меня приняли за дочку Дуга. Больные, видевшие, как меня везли несколько дней назад из операционной, такую маленькую, прикрытую с головой простыней, решили, что я ребенок. Когда они встретили Дуга с воздушными шарами в руке, то спросили: «Как чувствует себя ваша маленькая девочка?»

Мы с Дугом любили друг друга около года. Потеряла я его глупейшим образом.

Во время моих летних гастролей в Бордо мы с ним поссорились. Рассерженный Дуг выскочил из отеля. Я побежала за ним. Искала на перроне вокзала, но не могла найти в толпе. Поезд увез его в Париж.

Вскоре я заболела. Дуг уже был в Нью-Йорке, где выставлял свои работы. Когда он вернулся в Париж, мы встретились «просто друзьями».

И вдруг, третьего июня 1962 года — телефонный звонок. Человек, которого я любила, погиб. Самолет, в котором был Дуг, разбился в Орли спустя несколько минут после взлета.

Суеверна, да!

Эти воспоминания я диктую иногда из-за лихорадки и боли в полубессознательном состоянии. Но мне кажется, что именно в таком состоянии я яснее вижу лица и события прошлого. А так как смерть приближается, я должна говорить.

Когда она придет? Я не хочу об этом думать. Мы не знаем ни дня, ни часа, — и это к лучшему. Не потому, что я боюсь смерти. Я с ней немного знакома. Она часто подходила ко мне почти вплотную.

Может быть, и следующее свидание будет хорошим? Зачем же мне бояться? Я ведь твердо уверена, что жизнь продолжается и потом.

О, конечно, я знаю, многие смеются или жалеют меня, когда я утверждаю это. Они думают: «Бедная, во что она верит... Ну что ж, пусть утешается!»

Вы думаете, это может задеть меня? Я ведь знаю, что смерть — не что иное, как начало другого: свободы, возвращенной нашим душам.

Хотите подтверждения?

Вы помните тот столик, который сообщал мне: семнадцатого февраля, семнадцатого февраля. И телеграмму от жены Марселя Сердана?

Марселю было мало того, что он устроил нашу с ней встречу. Он говорил со мной.

В то время я и не предполагала, что можно говорить с умершими. Но друзья, желая облегчить мое горе, однажды предложили мне: «Почему бы тебе не попробовать поговорить с Марселем?»

Они привели ко мне известного медиума. В комнате, погруженной во тьму, мы расположились вокруг стола, плотно прижав к нему ладони. Мне сказали: «Сосредоточьтесь, будьте очень внимательны».

Я подчинилась, почти задыхаясь от страха.

Вдруг стол дрогнул и застучал по полу, диктуя слова. Буква за буквой послание Марселя (а это не мог быть никто другой) прояснилось: «Я не чувствую себя несчастным».

На этом первый сеанс закончился. Я ушла, переполненная радостью.

Вскоре я повторила сеанс. Сердан просил, чтобы я встретилась с его женой, которую я никогда не видела при его жизни. Он хотел, чтобы мы нашли друг друга, чтобы она простила меня, а я позаботилась о его сыне.

Потом я часто разговаривала с Марселем. Бывали случаи, когда дух его не являлся, и я часами ждала, сидя в темноте.

Марсель Сердан не единственный из умерших, с кем мне пришлось говорить: Как-то раз я вошла в контакт с моим отцом.

Я знала одного мага, необыкновенного человека. Он наставлял меня: «В темной комнате нужно положить одежду и вещи умершего. Каждый день вы должны приходить туда

на несколько минут, собраться с мыслями, просить и умолять, чтобы он явился. Никто, кроме вас, не должен там бывать. Настанет день, когда дух умершего войдет в комнату и явление свершится».

Каждый вечер в темноте я молила, чтобы явился мой отец. И однажды он ответил на мой зов. Но больше я не повторяла этого: было слишком мучительно.

Есть еще и другая причина, почему я действительно не боюсь смерти. Я уверена в том, что уже была мертва!

Это было в феврале, когда я лежала в Американском госпитале. Моя сиделка Мами может засвидетельствовать мой рассказ. В течение нескольких дней я находилась в полукоматозном состоянии и вдруг внезапно пришла в себя. Открыв глаза, я сказала Мами: «Послушай, со мной произошло что-то необыкновенное. Я видела людей, умерших, среди пейзажа, который не существует на самом деле. У меня ясное ощущение, что я несколько секунд находилась среди них».

Мами ответила: «Это правда. В течение какой-то доли секунды ваше сердце перестало биться, все подумали, что конец. Потом сердцебиение возобновилось».

Мой вертящийся столик (это маленький круглый стол) следует за мной везде, куда бы я ни поехала.

Однажды этот столик спас жизнь мне и моей трупке.

В 1956 году мы должны были поехать из Чикаго в Сан-Франциско. Несколько дней подряд мой столик настойчиво повторял одну дату, одно ужасающее сообщение: «Двадцать второе марта — падение самолета — все мертвы».

Я спросила у Луи Баррье, моего импресарио: «Скажи, Лулу, мы летим двадцать второго марта?» Лулу ответил: «Да». Тогда я распорядилась, чтобы ни один человек из моей труппы не вылетал двадцать второго марта. Наступил этот день, и я спросила Лулу: «Ну что, наш самолет долетел?»

Все в этом не сомневались и, усмехаясь, смотрели на меня, как бы говоря: «Ваш вертящийся столик, Эдит, ничего не стоит».

Но, развернув газеты, мы все побледнели.

Самолет, отправленный утром в Сан-Франциско, упал в море. Ни один человек не спасся — шестьдесят семь погибших.

Вы скажете — случайность, совпадение или что-нибудь в этом роде. Думайте, что хотите. Я уверена, что кто-нибудь из них, моих умерших, хотел меня предупредить. И так всегда бывает со мной.

Я живу в мире, полном предсказаний и таинственных знаков, и никогда не пренебрегаю посланными мне предостережениями.

Мои сны в период наркомании, алкоголизма, безумия... — не знаю, как истолковать их.

Я отвечу скептикам и сомневающимся: «Я гораздо ближе к смерти, чем вы, я глубже вас погрузилась в бездну страданий, которые ей предшествуют. Когда-нибудь вы согласитесь со мной».

Даже наука склонна придавать значение снам, уклоняясь, однако, от их разумных толкований. Так что же? Почему мои объяснения не убедительны?

У меня есть повторяющийся сон. Всякий раз он предвещает мне конец любви. Мне снится, будто я слышу телефонный звонок. Я беру трубку, говорю «алло». Молчание. Я умоляю: «Ответьте мне, говорите, скажите что-нибудь!»

Никто не отвечает. Я слышу только всхлипывания на другом конце провода и просыпаюсь. Через некоторое время в моей жизни произойдет разрыв.

Один раз сон спас меня.

Я только что вышла из Американского госпиталя в Нейи после ужасной болезни, которая свалила меня в июле 1961 года. Мне сделали операцию, уверив, что я спасена, и, чтобы я могла немного отдохнуть, отправили на дачу к Лулу под Уданом.

В первую же ночь мне приснилась санитарная машина.

Когда я проснулась, никто не мог ничего понять, потому что я просила немедленно отправить меня в госпиталь.

Я умоляла: «Скорее! Ну скорее же!»

Когда Шарль Дюмон и Лулу Баррье все-таки вызвали скорую помощь и пришли поинтересоваться, что это за новый каприз, они нашли меня уже в поту. Я крутилась, держась за живот.

В полдень, в Париже, врачи поставили диагноз: заворот кишок, необходима срочная операция.

Я бы умерла, если бы не увидела этого сна или не придала бы ему значения.

И после этого вы хотите, чтобы я не верила в сверхъестественные силы? Примеров, подтверждающих их существование, в моей жизни было несметное количество.

Послушайте еще.

Это было незадолго до двадцать четвертого июля 1951 года.

Астролог, к которому я постоянно обращалась, сообщил мне: «В ближайшее время вы попадете в две автомобильные катастрофы».

Однако не двадцать четвертого, а пятнадцатого «ситроен» Шарля Азнавура, с которым я вместе ехала в турне, потерял управление на повороте Серизье, в Ионне. Машина буквально взлетела в воздух и со всей силой врезалась в телеграфный столб. От машины не осталось ничего, абсолютно ничего. Шарль и я очутились лежащими в поле, Целыми и невредимыми! Три недели спустя мы с Шарлем ехали в машине, которую вел велосипедист Пусс. Сидя на заднем сидении, мы задремали, и нас выкинуло на повороте под Тарасконом, около восьми часов утра.

На этот раз я сломала левую руку.

И моя третья авария, в которую я попала в сентябре 1958 года, возвращаясь в Париж вместе с Мустаки, в местечке под названием «Пронеси, Господи», тоже была мне предсказана ясновидящим.

Потому-то меня и нашли в останках машины с зажатым в левой руке маленьким золотым крестиком, подаренным Марлен Дитрих в день моей свадьбы.

С тех пор с этим крестиком, моим талисманом, я никогда не расстаюсь.

А потом? Все мои катастрофы, все болезни — всё, что мне пришлось пережить между пятьдесят девятым и шестьдесят первым годами, я знала наперед.

В июле 1959 года мой астролог сказал: «Сейчас у вас благоприятный период, но через несколько месяцев вам придется сильно и долго страдать. Никогда еще я не видел, чтобы смерть так близко подходила к вам».

Эти же слова, а также другие, которые я предпочитаю забыть, он повторил и после моей свадьбы с Тео.

Я знаю свой счастливый день. Это четверг. Я никогда не начинаю никаких важных дел в другие дни недели.

Все мои контракты подписаны в четверг!

Со всеми людьми, особо отмеченными в моей жизни, я знакома в четверг.

Благословение на мой брак я получила в четверг.

И, напротив, мой злополучный день — воскресенье. Именно в этот день меня настигают катастрофы.

Я никогда не нанимаю секретаршу, пока не узнаю, под каким знаком она родилась. Вместо того чтобы спрашивать рекомендации, я задаю ей вопрос: «Ваше созвездие?» Если она отвечает «Рыбы», я сейчас же договариваюсь с ней, потому что рожденные, как я, под созвездием Стрельца хорошо уживаются с созвездием Рыбы.

А если я узнаю, что кого-нибудь зовут именем на букву «С» или «М», я сейчас же настораживаюсь. Потому что те, чьи имена или фамилии начинаются на эти буквы, имеют огромное значение в моей жизни. Возьмите букву «С»: Шарль² Азнавур, Шарль Дюмон,

² Charles

Константин³, Клод⁴ Левейе, Марсель Сердан, Морис Шевалье⁵, Анри Конте⁶; буква «М»: Марсель⁷, Поль Мерисс, Ив Монтан, Феликс Мартен, Маргерит Моно, Мишель Ривгош и тот же Мустаки...

Еще имя Луи. Носители этого имени — как бы шарниры моей жизни.

Моего отца звали Луи, так же, как и отца моей дочери. Луи Лепле открыл меня, когда я пела на улицах. И мой импресарио, тот самый, кто столько раз спасал меня от разорения, тот самый, кто всегда оказывается около меня в трудную минуту, Луи Баррье, Лулу!

Я так суеверна, что перед тем как выйти на сцену, с необычайной быстротой совершаю целый магический обряд. Сперва крещусь, целую священный медальон, который всегда ношу на себе. Потом сгибаюсь пополам и дотрагиваюсь обеими руками до дерева паркета. Наконец, протягиваю вперед указательный палец и мизинец и показываю рожки воображаемому демону, а затем прикасаюсь к круглому столику, к моему вертящемуся столику, который всегда ставлю за занавесом у выхода на сцену. Я глажу его, я прижимаюсь к нему так сильно, что даже делаю себе больно. И только после этого, поцеловав всех своих друзей, находящихся в данный момент возле меня за кулисами, я осмеливаюсь выйти под свет прожекторов.

Обо мне думают, что я сильная, циничная, что я играю людьми и отшвыриваю их, когда теряю к ним интерес. Но несмотря на свой возраст, я в глубине души так и осталась бедной уличной, легковой девчонкой, которую неотступно преследует все та же мечта: быть счастливой, быть любимой.

Жизнь всегда так омрачала чудесное, и нет ничего удивительного в том, что я ищу его в другом мире. И нахожу.

Я не из тех, кого называют истово верующими и кто покоряется требованиям морали какой то религии. Нет, моя вера — нечто большее, нежели то, чем мы воодушевляемся здесь, внизу. Она безмерна.

И я знаю: стоит только очень сильно попросить предзнаменования «оттуда», и оно будет прислано.

Один только раз я отказалась увидеть, услышать, отказалась подчиниться предостережениям. Потому что я была влюблена!

Он был молод, талантлив, умен. В то время я чувствовала себя такой одинокой и думала найти в нем идеального спутника. В который раз!

Как-то вечером я спросила у своего столика, буду ли я счастлива в своей новой любви? Он задрожал, стал сильно стучать, призывал меня к осторожности, приказывал никогда больше не встречаться с этим человеком.

Тогда я обратилась к астрологу. Он сказал категорически: «Есть в вашей жизни человек, с которым вы должны расстаться, иначе он сделает вас несчастной».

Но тут я была упряма. Я хотела поступить так, как поступают те, кто смеется над моим суеверием. Я не рассталась с моим возлюбленным.

Несмотря на бархатный взгляд и нежную улыбку, он был груб, циничен и жесток. Я уже рассказывала о нем. Когда я легла в клинику на операцию и тревожно спросила его: «Любишь ли ты меня еще?» Он ответил: «Не приставай, все кончено между нами».

³ Constantine

⁴ Claude

⁵ Chevalier, предугадавший мой успех

⁶ Conte

⁷ Моя дочь

Ужасно! После операции, обессиленная, я лежала в госпитале и каждый день звонила ему. В телефонной трубке раздавался его насмешливый голос: «Солнце изумительное! Я чувствую себя прекрасно! А какие здесь девочки, какие девочки!»

Он бросил меня, чтобы поехать развлекаться во Флориду. После этого нечего удивляться, что я иногда пила. Жизнь не щадила меня, хотя и многое дарила.

Людам легко быть сознательными праведниками, когда они чувствуют себя в безопасности.

Они горделиво говорят вам: «Я никогда бы не смог дойти до этого. Не смог бы никогда так опуститься!»

Что ж, хотела бы я их видеть на моем месте, мои несчастья или отчаяние, мое бедное разрушенное тело вызывали во мне желание выть, выброситься из окна или убить кого-нибудь.

Может быть, в таких обстоятельствах и они начали бы пить, чтобы забыться?

Пить... Забыться...

Пьют, потому что хотят забыть кого-то или что-то, забыть свои неудачи, слабости, страдания, свои дурные поступки.

Я тоже пила, чтобы забыть того или другого человека, причинившего мне страдания. Я знала, что разрушаю себя, но удержаться не могла.

Алкоголь едва не погубил меня. Я вела с ним самую жестокую и самую долгую борьбу, более трудную, чем с наркоманией, нищетой и другими моими демонами.

Я никогда не смеюсь над теми человеческими обломками, в которые превращаются алкоголики. Я ведь слишком хорошо знаю их адские мучения. Несчастные развалины! Я сама чуть не превратилась в такую, но выкарабкалась из этой опасности.

Я — живое доказательство того, что победа возможна.

Первый раз я напилась по-настоящему, когда покинула кладбище, где только что опустили в могилу мою маленькую девочку. Я зашла в бистро и залпом, не переводя дыхания, выпила четыре больших стакана пасты, не разбавляя водой. После последнего глотка у меня все закружилось перед глазами, острая боль пронзила голову, и я повалилась на пол мертвецки пьяная.

Рано утром, придя в себя, я поняла, что, как ни велика боль, алкоголь помогает забыться. И я начала пить.

В этом не было для меня ничего необычного. Там, где я родилась, пили все. Когда я была грудным ребёнком, моя бабушка давала мне по утрам соску с красным вином, разбавленным водой. Чтобы придать мне силы.

Это привело к моей почти полной слепоте до семилетнего возраста (газеты уже достаточно писали об этом).

И если бы не то чудо в Лурде... Чудо, о котором я не смею говорить, чтобы не совершить кощунство.

Алкоголь тоже может иногда вызвать чудо, но это чудо дьявола. Как только я почувствовала, что алкоголь помогает забыться, я погибла.

Мне всегда нужно было что-нибудь забыть: свою бедность или богатство. Даже в тот день, когда я смогла наконец сбросить, как старое изношенное платье, нищету, я не перестала пить. Ведь богатство не освобождает от страданий и желания избавиться от них.

Но самое ужасное я пережила в Нью-Йорке. Этот мальчик, о котором я уже говорила и чье имя не хочу называть, потому что я всегда предпочитаю умалчивать имена тех, кто причинил мне зло, — этот мальчик, для которого я столько сделала, бросил меня после отвратительной, мерзкой сцены.

А вечером, как всегда, я пела в кабаре «Версаль». Ведь я могла найти силы петь даже в день смерти Сердана, даже тогда. Но выступление закончилось, и я потребовала

шампанского, много шампанского, которое мы пили с моей подругой Жинет и со всеми, кто хотел.

Вскоре все завертелось передо мной, я упала на пол и на четвереньках, с лаем, поползла через зал. Я кричала: «I am a dog!⁸»

Моя подруга Жинет шла рядом со мной, изображая, что ведет меня на поводке, и время от времени повторяла: «Да не кусайся ты, грязное животное!»

Это было отвратительно, невыносимо!.. Но в это время я не испытывала никаких страданий. Зато каждый раз, когда я таким образом теряла голову, просыпаясь утром бледная как смерть, я сгорала от стыда и клялась себе не пить больше. Я ходила в церковь, стояла перед Богоматерью на коленях и молила ее: «Вы же знаете, почему я пью, знаете, мои мучения, помогите мне!»

И я обещала не пить в течение целого года! Но вскоре я встречала нового мужчину, и все начиналось сначала.

Как-то в Рио-де-Жанейро я спуталась с одним музыкантом. Звали его Жак. Это был один из лучших людей, встречавшихся в моей жизни. Я вела себя с ним отвратительно, а он все терпел. И вдруг я почувствовала отвращение к себе. Я заперлась одна в своей комнате, поставила около себя длинный ряд бутылок с пивом и пила, пила, чтобы уснуть, забыться...

Понадобились годы, чтобы понять, как медленно, но верно я губила себя.

Сначала я даже гордилась, что могу так пить. Я заставляла пить всех окружающих меня, и им приходилось проявлять выносливость, чтобы заслужить мое уважение.

Однажды в Лионе мы с Жаком Пиллсом ночью, после нашего выступления, зашли в бистро, твердо решив не пить ничего, кроме кружки пива...В восемь часов утра, когда хозяин и официант уже не выдержали и храпели прямо за столом, мы с Жаком, держась за руки, все еще стояли у стойки бара. Вид у нас был ужасающий. Жак разбудил хозяина, ловко бросая на прилавок монеты, и мы решили пойти позавтракать в «Баланс». Жак сел за руль машины.

Войдя в отель, он заказал яиц и белого вина! Мы чувствовали себя счастливыми и бодрыми. Взглянув на Жака, я сказала: «Это не человек, а скала! Он несокрушим! Несмотря на такую ночь, он трезвый и в прекрасной форме!»

Жак протяжно зевнул и спросил: «Скажи, Диду, а кто нас сюда довез?»

Я захохотала как идиотка. Мне это показалось очень забавным...

Но однажды из-за алкоголя я предала свою публику. Я, всегда готовая чем угодно пожертвовать ради нее.

Это было в 1953 году в «Казино де Руайя», во время гастролей. Я пила почти с самого утра и на сцену вышла нетвердой походкой, с осоловевшими глазами, едва ворочая языком. Когда оркестр заиграл первую песню, мне казалось, что я никогда не смогу начать. Я должна была спеть: *Merchant par-dessus les tempetes*⁹. А спела: «*Marchi les blaches gourmettes*¹⁰».

Какой-то зритель закричал: «На каком языке она поет?»

Память изменила мне, голова была как в тисках, я не могла вспомнить ни одного слова.

И в этот момент публика все поняла. Её первые свистки вернули меня к действительности, я вновь обрела память и окончательно протрезвела. Но мной овладел страх...

На этот раз я окончательно решила больше не пить. Но было поздно: мой организм был уже отравлен. Каждый раз, обещая покончить с этим, я нарушала свое слово.

⁸ Я — собака (англ.)

⁹ Шагая в бурю (франц.)

¹⁰ Слова без всякого смысла.

Вопреки себе, врачам, друзьям я прибегала к самым невероятным уловкам, чтобы все-таки пить.

Врачи запрещали мне даже глоток спиртного. Я делала вид, что подчиняюсь, но выполняла их предписания «по-своему». За столом я ничего не пила, кроме минеральной воды, но заказывала себе дыню — в портвейне, землянику — в вине, ананас — в кирше. Я была так пропитана алкоголем, что для меня и этого было достаточно: я вставала из-за стола шатаясь.

И все-таки, несмотря ни на что, мои истинные друзья решили меня спасти. Бывая у меня, они пили только воду и кофе, чтобы не вводить меня в соблазн. Объявили войну бутылкам: они прятали их, разбивали, приводя меня в бешеную ярость. Я ругалась, оскорбляла их, ломала и била все кругом. Потом внезапно успокаивалась: «Извините меня, я должна привести себя в порядок».

Я исчезала на несколько минут в своей комнате и возвращалась успокоенная, с неестественным блеском в глазах. К вечеру моя походка становилась неуверенной, а язык еле ворочался. Никто не мог понять, каким образом я приходила в такое состояние, до того дня, пока моя секретарша Элей не нашла под моей кроватью пустые бутылки. Тогда, перерыв все, она обнаружила в моей аптечке запасы пива, спрятанные за лекарствами.

Я пила безо всякого удовольствия: просто так! Вставала по ночам украдкой, чтобы никого не разбудить, и в ночных туфлях, накинув пальто, выбегала на улицу в поисках открытого бара. В эти периоды у меня появлялось какое-то непреодолимое желание истребить себя. Ничто не могло меня остановить. Приступы эти длились от двух до трех месяцев. Потом, когда я уже достигала самого дна пропасти и все считали меня погибшей, я вдруг находила в себе силы подняться.

Но вскоре снова погружалась в бездну, вплоть до безумия. Много страданий я причинила людям из-за этого пожиравшего меня порока. Те, кто любили меня, ломали себе голову, не зная, что еще сделать, чтобы меня спасти. Я слышала, как они шептались между собой: «Если она будет так продолжать, она погибнет».

Так продолжалось, пока однажды, в 1956 году, мне не приснился ужасный сон: во сне мне явилась моя маленькая дочка Марсель, она плакала.

Внезапно проснувшись, я сказала себе, что это я, мать, заставляю ее плакать. Я говорила уже, что верю в сны, верю в потусторонний мир.

В этот же день мой импресарио Лулу Баррье проводил меня в клинику для алкоголиков. На следующее утро сиделка спросила меня: «Что вы привыкли пить?» Я ответила: «Белое вино, пиво и красное вино, еще пасти и виски тоже». Сиделка все это записала на карточку. Записывая за мной, она повторяла: «Очень хорошо».

Первый день лечения прошел в атмосфере полного блаженства. Каждые полчаса мне приносили выпить: сначала стакан белого вина, потом пива, затем красного вина, пасти и виски.

Я нашла, что режим не такой уж мучительный.

К вечеру я была вдребезги пьяна. Первая запись, которую дежурная сестра занесла в мое Досье, гласила: «В два часа ночи больная пела во все горло: «Я принадлежу тебе, будем навсегда неразлучны».

Но это был метод лечения: постепенно мне переставали давать пить спиртное, и начались мои мучения.

К концу второй недели я была уверена, что умру, если мне сейчас же не дадут стакан вина. В течение сорока восьми часов я не переставая выла, билась на постели в белой горячке. Я видела вокруг себя кишашую толпу гномов в белых халатах, с громадными ухмыляющимися лицами, а прямо перед собой — огромного хирурга.

Гномы и хирург потрясали надо мной кулаками, а потом начинали меня бить. В этот момент я от страха приходила в себя, и видение исчезало на несколько секунд.

Потом кошмар начинался снова. Вновь появлялись гномы и доктор, они проклинали меня, бранились, грозили кулаками...

И каждый раз, стоило мне только закрыть глаза, я начинала видеть их.

Это длилось два дня. Я думала, что сойду с ума. Сиделки держали меня, прижимая к кровати, вытирали слезы и пот, которые смешивались у меня на лице. Как паяц, сотрясаемая дрожью, я билась и кричала: «Защитите меня! Карлики вернуться, они хотят меня убить. Умоляю, прогоните их!»

Я кричала и просила сжалиться надо мной, звала на помощь, молила небеса, чтобы мой кошмар кончился, и я призывала смерть, которая спасла бы меня от страха.

И вдруг к концу второго дня гномы и хирург исчезли словно по волшебству. Наконец! Больше бы я не выдержала. Вошел доктор и сказал: «Теперь вы поправитесь».

И я выздоровела. С этого дня я ни разу не притронулась к спиртному.

Другие

Никто из тех, кого мне приходилось выручать в трудную минуту, не знает и не догадывается, в чем настоящая причина того, почему я не могу удержаться от помощи другим.

Всем, что они должны мне, они обязаны одной маленькой умершей девочке и доброте одного неизвестного.

Я бы хотела, чтобы этот незнакомец прочел эти строчки и узнал себя в них. Его поступок имел для меня такое значение, о котором, конечно, он не мог и подозревать. Но, думаю, узнав об этом, он был бы доволен.

Я должна вернуться в далекое прошлое. Воспоминания в моей усталой голове не занесены в аккуратный список с точными датами, начиная с самой отдаленной и заканчивая последними.

Все смешивается, а потом беспорядочно всплывает в памяти. Одно освещено ярче, другое — бледнее.

Знаете, как только я вспоминаю свои шестнадцать лет, мне хочется плакать. Нет, не надо завидовать мне, лучше пожалейте.

Сейчас я знаменита, обо мне говорят: «Сколько же она зашибает денег!»

Миллионы, миллиард, может быть, это правда. Но эти деньги я швыряю куда попало.

Почему? Потому что мне нравится быть расточительной. Я так мщу за себя.

Мщу за то, что ребенком спала на тротуаре.

В дни своих триумфов я хохочу как сумасшедшая, потому что вспоминаю свою молодость.

У меня такое чувство, что я победила судьбу, заставившую меня родиться в самом низу социальной лестницы, там, где не возникает никакой надежды.

Но даже грандиозный триумф не в силах затмить самое страшное из моих воспоминаний: ту ночь, когда я была так бедна, что хотела продать себя за десять франков. Да, за десять франков!

Если вы всегда спали в постели, которая ждала вас в доме, теплом — зимой, прохладном летом...

Если у вас были родители, которые заботились о вас, ласкали, тревожились о вашем здоровье... Тогда, боюсь, вы не поймете, будете шокированы и осудите меня еще суровее, чем всегда. И все-таки...

Попробуйте себе представить. Мне было пятнадцать с половиной лет, когда я сбежала с Малышом Луи. Надо было жить.

Я нанялась прислужкой, выполнявшей всю работу по дому. Но я не создана для домашнего хозяйства, я — дочь уличного акробата. Меня рассчитали один раз, другой, третий: я бью слишком много посуды, я ничего не успеваю, я — нахалка.

Тогда я поступила на обувную фабрику к Топэн и Маске. Зарабатывала около двухсот франков в неделю. Я трудилась над башмаками три месяца, пока не почувствовала себя

плохо. Меня отправили в лазарет, и там врач сообщил мне, что я беременна. Меня уволили — таково правило. Но несмотря ни на что я радовалась своему будущему материнству.

Я родила в госпитале Тенон, а затем очутилась с Малышом Луи и нашей маленькой Марсель в отеле «Л'Авенир» на улице Орфила, 105. Комната с потрескавшимися стенами была окнами во двор. У окна на веревке висели пеленки и наша одежда. Под кровать я сваливала чемоданы, запихивала старую бумагу, грязное белье и сметала весь мусор.

Но все же мы с Малышом Луи были счастливы как дети оттого, что у нас родился ребенок.

Только вот денег у нас не было ни одного су. Пришлось удирать из отеля украдкой, ползти на четвереньках мимо комнаты привратника.

Мы поселились в другом отеле, на улице Жер-мен-Пилон. Это отсюда я убежала однажды ночью, связав простыни и спустившись по ним из окна.

Но так не могло продолжаться долго. Малыш Луи по-прежнему работал в магазине. Я поручила нашу малышку одной из женщин, живущих в нашем отеле, и отправилась петть на улицах.

Это было началом моих непрерывных хождений. У меня такое впечатление, что два с половиной года я не переставая ходила, или бегала, когда меня преследовала полиция...

В течение долго времени мы с девчонкой Зефеориной и мальчиком Жаном распевали на улицах, в казармах и на ярмарках.

Нашей выручки хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. И мы все время дрожали от страха: нас троих разыскивала полиция, поэтому один из нас всегда должен был стоять на стреме, Зефеорину и Жана — за воровство с прилавков, меня — потому что отец заявил о моем бегстве в комиссариат на Плас де Фет.

Петть мы уходили так далеко, что часто мне не удавалось вернуться вечером домой. Тогда Малыш Луи присматривал за маленькой.

Как-то раз мы решили заночевать в подворотне, где отвратительно пахло помоями. Зефеорина, восемнадцатилетняя цыганка, чудовищно безобразная, болела свинкой. В ту ночь была моя очередь караулить. Но я так устала! Свернувшись калачиком, я крепко заснула. Вдруг нас осветил луч карманного фонаря и грубый голос приказал: «Вставайте и следуйте за нами!»

Это была полиция. Бригадир и два агента, на велосипедах, застали нас врасплох.

К счастью, бригадир начал строить глазки Зефеорине. Нам надо было спастись любой ценой. Мы с Жаном кидали нашей подружке умоляющие взгляды. Она любила Жана, а Жан любил ее. Жертва была слишком тяжелой, но это был наш последний шанс избежать тюрьмы. Зефеорина удалилась с бригадиром в ночь. Уходя, он распорядился: «Отпустите остальных».

Понятно, при такой жизни, как моя, я не могла бы получить приз за добродетель.

Отчасти по вине моих приятелей Жана и Зефеорины я потеряла свою первую любовь... и мою маленькую Марсель.

Жан любил Зефеорину. Но как-то они поссорились, и она вернулась в свою семью, к цыганам, которые жили в фургоне около Пантена.

Жан попросил меня уговорить Зефеорину вернуться к нему. Как только я появилась в фургоне, семья цыган накинулась на меня. Их было человек пятнадцать. Они били меня, ругали, плевали в лицо. Я истекала кровью и плакала от бешенства. Наконец мне удалось вырваться. Добежав до изгороди, которая ограждала их табор, я обернулась и закричала: «Я вам отомщу! Я приду с ребятами!».

Я вернулась к Жану. Сообщив, какую трепку получила, я сказала: «Жан, мы должны отомстить».

Мы пошли по улице Бельвиль. На каждом углу, в каждом кафе набирали себе подмогу. В результате, когда мы явились в Пантен к цыганскому табору, нас было двадцать головорезов обоего пола (то, что теперь бы назвали двадцать «черных блуз»).

Битва была ужасающая. Удары ножами, палками, вопли, крики раненых — все это длилось около получаса. Внезапно появилась полиция. Мы заметили ее слишком поздно, когда уже были окружены.

Длинная вереница арестованных медленно двигалась по окраине Парижа. Жан, шедший около меня, шепнул: «Если мы не смоемся, они посадят нас за решетку. Давай руку. Подходящий момент — надо улепетывать. Не бойся».

Вдали, в тумане, домики Пантена выглядели как декорация из папье-маше. Вдруг, у какой-то канавы, Жан рванул меня и вытащил из движущейся колонны задержанных.

Длинный прыжок и — дикая скачка по камням, по траве, по каким-то свалкам мусора. Колючка кустарника впивались мне в босые ноги. Гневные крики позади нас, револьверные выстрелы, пули свистели в воздухе... Это было достойно кинофильма, уверяю вас.

Жан тащил меня, я скатывалась с откосов, задыхалась, ныла: «Не могу больше! Беги один. Брось меня».

Но он упорно продолжал меня тащить. Наконец мы добрались до Пантена. Спрятались в заднем помещении какого-то кафе. Я предложила Жану: «Спрячемся у Малыша Луи».

Наступила ночь. Шел дождь. Мы крались, прижимаясь к стенам, промокшие, продрогшие. Скрип двери, грязная комната, и мой голос, прошептавший Жану: «Входи».

Вдруг, держа в руке керосиновую лампу, с растрепанными космами седых волос, в черном платке на плечах, появилась мадам Жоржет. Это была приемная мать Малыша Луи. Меня она ненавидела, но Малыш Луи ее любил. Прислонять к косяку двери, она икала и покачивалась на месте. Она была вдребезги пьяна.

Шатаясь, извергая ругательства, она двинулась на меня. Потом схватила кочергу, собираясь ударить, но вдруг потеряла равновесие, рухнула на пол и осталась лежать без движения. Падая, она ударилась головой о ведро, кровь потекла по ее лицу, и она захрипела.

Я в ужасе съезжилась в руках Жана, не смея шевельнуться. Я боялась не только ей помочь, но даже взглянуть на нее.

В это время вошел Малыш Луи. Увидев лежащую мадам Жоржет, он закричал: «Вон отсюда!»

Он не желал меня больше видеть: он думал, что я ударила ее.

Луи появился в моей жизни еще только раз: чтобы сообщить мне самую страшную весть. Это случилось вскоре после нашего разрыва. Я работала тогда в танцевальном зале «Вихрь» на площади Пигаль. В мои обязанности входило всего понемногу: петь, протирать стаканы, подметать.

Однажды вечером мне сказали, что здесь Малыш Луи. Он был бледен и бормотал: «Марсель очень больна. Менингит... она в детской больнице... она погибает».

В то время менингит не лечился. Больному делали пункцию и ждали девять дней. Если больной выдерживал этот срок, он был спасен. А если нет...

В течение восьми дней я надеялась на чудо. Накануне девятого дня, поздно ночью, движимая каким-то предчувствием, я отправилась из отеля «Бельвиль» в больницу пешком, потому что у меня не было ни одного су. Мне удалось проникнуть в палату Марсель. Одна сиделка, которая хорошо ко мне относилась, встретила меня со словами: «Она пришла в сознание. Температура спала, думаю, выкарабкается».

Я приблизилась к моей девочке. Ее большие голубые глаза были открыты. Первый раз за всю болезнь она узнала меня и позвала: «Мама, иди сюда. Посиди со мной». Обливаясь слезами, я покрывала ее поцелуями. Около пяти часов утра я ушла.

В полдень я вернулась туда вместе с Малышом Луи. Я была счастлива, уверена, что кошмар кончился. А Марсель уже умерла.

Ни у Малыша Луи, ни у меня не было ни одного су, чтобы купить ей венок. Мы расстались, не сказав друг другу ни слова. Я возвратилась на площадь Пигаль.

Я была совершенно подавлена. Тогда одна девица, профессиональная танцовщица нашего кабаре, сказала мне: «Ничего, мы соберем. Увидишь — найдем деньги».

Ведь мне даже не на что было похоронить мою дочь!

Но после того как все приятели и подружки, которые были так же бедны, как я, отдали все, что могли, все равно не хватало еще десяти франков.

Было четыре часа утра. В своем пальто, чересчур длинном, с продранными локтями, я вышла на улицу.

Я думала о Марсель, о своем горе, о десяти франках, которых мне не доставало. Я медленно шла, еле передвигая ноги.

Вдруг позади меня раздался голос: «Сколько стоит твоя любовь, малютка?» Высокий тип с насмешливой улыбкой принял меня за проститутку.

Обычно в таких случаях я ругалась, давала оплеуху. Но в эту ночь, в полном отчаянии, в ужасе оттого, что делаю, я ответила: «Десять франков».

Он взял меня за руку и быстро потащил в какую-то подозрительную гостиницу.

Я взбиралась по лестнице, впереди невозмутимый ночной сторож, позади — незнакомец, чье дыхание я чувствовала на своем затылке.

Я твердила про себя: «Нет, это невозможно! Ты не сделаешь этого».

Я очутилась в какой-то комнате с глазу на глаз с высоким типом, который, улыбаясь, сказал: «Держи, вот твои десять франков». Он положил монету на стол, посмотрел на меня и взял за плечи. В эту минуту я почувствовала, что если уступлю этому человеку, то всю жизнь буду смотреть на себя с отвращением.

Незнакомец холодно взглянул на меня: «Ну что? За чем дело стало?» Я разрыдалась и рассказала свою печальную историю о том, что у меня умерла дочь, надо ее хоронить, а у меня не хватает десяти франков...

Я видела, что ему жаль меня и он отпустит меня, ничего не требуя. Он пожал плечами и тихо сказал: «Иди. И не падай духом, малютка! Не такая уж веселая штука жизнь, а?»

С благодарностью я вспоминаю этого незнакомца. И каждый раз, если могу, выручаю других, не ожидая ничего взамен.

Если бы этот человек обошелся со мной как с девкой, может быть, я уже никогда не была бы способна на бескорыстный поступок. Поступок, который в последнюю минуту спасает человека.

До сих пор я благодарна ему еще и за то, что он помог мне стать великодушной.

Отдавать и ничего не ждать в ответ — ничто другое не доставляет мне такой радости.

Мои гонорары

Я говорю все время о любви, о мужчинах, за которыми следовала, которых бросала и которые бросали меня, будто только история моих увлечений может быть интересной для других.

Все это потому, что для меня не было в жизни, по существу, ничего более стоящего, чем любовь и мои песни. Но и мои песни — это тоже любовь.

Для других же самое главное — деньги, которые приносили мне мои песни. Я знаю, что говорят: «Пиаф! Сколько она зарабатывает! У нее, должно быть, неплохая кубышка. Ей нечего беспокоиться: ее старость будет обеспечена».

Так, наверное, и было бы. Я в самом деле заработала большое состояние: миллионы и даже больше миллиарда, я говорила уже об этом. Я получала баснословные гонорары! Одни только пластинки приносили мне тридцать миллионов старых франков в год. В Нью-Йорке мне платили миллион за вечер!

Да, я могла бы иметь состояние, как у Мориса Шевалье или у Фернанделя... Но дело в том, что у меня почти ничего не осталось. Пожалуй, только лишь, чтобы продержаться несколько месяцев. Это может показаться невероятным, но это факт. И если я больше не смогу петь, мне будет трудно жить прилично.

Но я не имею права жаловаться.

Если я просадила целое состояние, то это только моя вина, моя мания к чрезмерно широким жестам. И я вовсе этим не горжусь. Подумать только, сколько добра я могла бы сделать при помощи этих денег, которые так часто проматывала зря!

Например, чтобы нравиться одному человеку, который был очень тщеславен, я покупала себе роскошные драгоценности. Правда, они не слишком меня украшали, но на него производили ошеломляющее впечатление. А я только этого и хотела.

Конечно, это ничуть не помешало ему меня оставить! Вернее, бросить — и при омерзительных обстоятельствах, вызвав во мне чувство отвращения. Тогда, знаете, что я сделала? Взяла свое кольцо, кольца, браслет, клипсы и все это спустила в клозет. От бешенства!

Таким образом целое состояние исчезло в сточной трубе.

Трудно совершить более глупый поступок, и вы, наверное, считаете, что меня следовало бы выпороть? Согласна. Но я теряю голову, когда злюсь.

Понятно, я достаточно тратила и на знаменитых портних. Принято считать, что платье, сшитое у Диора или у Бальмена, скрывает природные недостатки!

Увы! Когда я приходила в какое-нибудь из этих модных ателье, я становилась сказочной добычей для продавщиц. Они обступали меня и говорили: «Эта материя, мадам, как она вам идет!» или: «Этот цвет восхитительно вам подходит!» А я на все отвечала: «Беру».

И меньше, чем за час, я спускала три или четыре миллиона.

Что же касается этих платьев, то я их никогда не надевала! Вынесенные из магазина, они теряли свое очарование, и я возвращалась к своим классическим, маленьким черным платьям.

А крах, постигший меня с моим особняком в Булони! Я заплатила за него семнадцать миллионов, истратила целое состояние на его отделку, порученную лучшим декораторам Парижа. У меня была потрясающая гостиная, спальня — мечта, вся из голубого атласа. Но я в ней никогда не спала... Она была слишком красива, слишком велика, слишком роскошна для меня. Я не привыкла к этому и предпочитала ютиться в комнате для консьержа, кое-как перекрашенной, кое-как обставленной. Но тут я чувствовала себя «под своей крышей», и мне нравилось развлекаться со шнуром для открывания дверей.

Наконец через три года я продала мой особняк. Разумеется, с убытком. Мне дали за него всего десять миллионов.

Со мной вечно одно и то же. Люди думают: «Эта Эдит Пиаф! У нее-то есть деньги! Жить можно». А я, наивная, глупая до слез, покупаю и думаю: вот выгодное дело! А потом продаю за бесценок.

Несколько лет назад я решила: буду разводить коров. Это было модно в нашем кругу, все артисты занялись скотоводством. На сей раз я потеряла почти все. Я купила за пятнадцать миллионов ферму в Элье, около Дре. За четыре года она дала два кило зеленых артишоков, фунт земляники и несколько помидоров. Удалось «развести» двух куриц, одного кролика и всех окрестных кошек.

Центральное отопление мне стоило больше полутора миллиона, но оно никогда не действовало. Всякий раз, когда я хотела принять ванну, моя кухарка Сюзанна грела на плите громадный котел воды. У меня на ферме было так холодно, что я ни разу не смогла съездить туда зимой.

И все я продала за гроши, когда смертельно заболела и у меня не было ни одного су, чтобы платить за клинику и докторам!

Беда в том, что я никогда не думаю о цене вещей. Однажды я заболела в Стокгольме: головокружения, тошнота. Я пришла в панику при мысли, что могу умереть вдали от Парижа, и для себя одной наняла «ДС-4Н», огромный самолет на сорок пять пассажиров. Это был явный идиотизм, который влетел мне в хорошенькую сумму: в два с половиной миллиона.

И каждый раз — одно и то же. Луи Баррье, мой верный Лулу, мой импресарио, рвал на себе волосы, потому что мой счет в банке постоянно испарялся. Но я пожимала плечами и говорила: «Не беспокойся! Чудеса доступны всем».

Конечно, деньги мне давались очень легко.

В 1957 году в Нью-Йорке, выйдя из больницы, я нашла своих музыкантов в мрачнейшем настроении. Лулу сообщил мне печальную новость: больничные расходы, три миллиона, довели нас до крайней нужды. Музыканты питались консервами и подрабатывали на жизнь, играя в кабачках.

Ни у кого не было денег на обратный путь!

Я еле держалась на ногах, но необходимо было дать хотя бы два концерта, потому что мы все «сидели на мели».

Когда мы вернулись в Париж, Лулу повалился в кресло со словами: «Так не может больше продолжаться, Эдит, надо экономить».

Я захохотала: «Экономить! Может, еще в копилку класть! Вечером приглашаю всех музыкантов, устроим кутеж!»

Я вскрыла первый попавший конверт из полученной в мое отсутствие почты. Это было письмо из студии звукозаписи. Внутри лежал чек на десять миллионов.

Изнемогший Лулу ничего не сказал.

Белый Лулу!

Понятно, быть моим казначеем, моим наставником — это не синекура.

Но я разорвалась не только на свои капризы.

Я много просадила денег и на своих друзей, но об этом никогда не жалела.

В моем особняке, в Булони, у меня одновременно жили по восемь человек.

Мои друзья спали на раскладушках, на резиновых матрасах, на диванах и на креслах, поставленных «кареткой». Моя гостиная походила на дортуар! Тут были композиторы, поэты, певцы. Мы работали, болтали, шумели до зари, а потом отправлялись спать.

Да, я всегда любила быть щедрой с друзьями. А с кем же еще, как не с ними? И потом — на сердце делается так тепло, когда другим доставляешь удовольствие. Мои подарки, маленькие и большие, как я буду подводить им счет? Я даже дарила машины — ни за что, просто так. Мальчикам — только потому, что они были «шикарные типы» и с симпатией относились ко мне, а еще потому, что я люблю видеть, как у других загораются радостью глаза.

Конечно, мне самой так не хватало счастья, что я чувствовала необходимость изображать святочного деда.

А теперь, получила ли я что-нибудь взамен?

Откровенно говоря, нет. Да это и неизбежно. Я ни на кого не обижаюсь.

Есть у меня один друг. Я всегда радуюсь, что могла быть ему полезной.

Вы все его знаете, потому что теперь он один из самых знаменитых композиторов наших дней, — Шарль Азнавур.

Мы познакомились с ним через окно. Он жтел напротив меня и очень хорошо пел, аккомпанируя себе па рояле. Как то я выглянула и окно, мы разговорились. Узнав, что у него нет ни одного су, я сказала: «Идите жить в мой дом».

Когда я узнала, что его ужасно удручает некрасивый нос, я засмеялась: «Ничего! Пристроим новый, старина».

Он ничего не забыл.

В тот вечер, когда он стал знаменитым, когда весь зал устроил ему овацию, он заперся в своей уборной и написал мне: «Эдит, я наконец выиграл. Но я хочу, чтобы ты знала, что каждым «браво» я обязан тебе. Тебе я посвящаю этот успех».

Это письмо я сохранила. Милый Шарль, как он был счастлив, когда смог впервые пригласить меня обедать!

Как-то раз, после его триумфального выступления в «Альгамбре», мы вместе с друзьями пошли ужинать. Я видела, как он тайком платил по счету, пока мы еще не кончили

есть. Потом он мне признался: «Я годы ждал этого момента. Когда я жил в нищете, я твердил себе: придет время, и я приглашу Эдит!»

Теперь он гораздо богаче меня...

Хотя деньги и текли у меня сквозь пальцы, я все-таки не всегда швыряла их зря.

Думаю, я уже достаточно наговорила про себя гадостей, чтобы позволить себе немного похвастаться.

Несколько лет назад, когда я пела в «АВС», как-то вечером я спустилась в бар, в двух шагах от мюзик-холла, чтобы выпить чашку кофе. Сидя у стойки, я увидела в окно проходившую по улице женщину в плохо сшитом габардиновом пальто. В руках она несла какой-то сверток. Я бы не обратила на неё внимания, если бы не заметила затравленного взгляда отчаявшегося человека.

Я не двинулась с места, размышляя, что же могло привести ее в такое состояние? Вдруг она снова прошла мимо кафе. Она удалялась маленькими, быстрыми шагами. Как будто бежала от чего-то, в руках у нее уже ничего не было. Я выскочила на улицу. Напрягая зрение, прошла по темному переулку. В глубине одной подворотни я наметила сверток. Это был небольшой ящик из-под фруктов, набитый лохмотьями, а внутри спал, словно ангелочек, новорожденный младенец! Я повернулась и побежала, как сумасшедшая! Случаю было угодно, чтобы я догнала несчастную. Я схватила ее за руку и строго сказала: «Сейчас же вернитесь за ним. И не стыдно вам!»

Я обидела ее, она заплакала. «Не зовите полицию... Не зовите, умоляю вас...» — непрерывно повторяла она.

Я отвела ее в переулок, положила ей на руки ребенка и выслушала историю, банальную, конечно. Её соблазнили и бросили, она родила, а семья выкинула ее на улицу без единого су. Тут в свою очередь заплакала я. Она была так молода. Ей не было еще девятнадцати лет! Такая худенькая, такая маленькая. Я сказала ей: «Подождите меня здесь».

Поднялась в свою уборную, заполнила чек, бегом спустилась вниз и сунула ей в руку. Я сказала: «Никогда не отчаивайтесь. Если вам что-нибудь понадобится, нажмите звонок у моих дверей. Вам откроют, и мой дом будет вашим».

Она взглянула на чек — миллион!

Я только услышала: «О, мадам! Мадам...» И она пустилась бежать.

Через два года она мне написала, что вышла замуж. Свою дочь назвала Эдит. В конверте был маленький медальон-амулет — с единственным выгравированным словом: «Спасибо». Этот медальон всегда при мне.

И все-таки один раз и жизни я была скупа. И была наказана за это. Этим можно объяснить мою расточительность.

Дело было во время оккупации. Я должна была уплатить один долг. Огромный! Но я не беспокоилась. Я получила новый ангажемент, и гонорар с лихвой позволил бы мне расплатиться. Увы, в первый же вечер моего выступления немцы закрыли кабаре, в котором я должна была петь! В панике я пыталась сообразить, где же мне достать эту огромную сумму, и тут я вспомнила одного своего старого поклонника, который мне как-то сказал: «Что бы вам когда-либо ни понадобилось, вы всегда можете обратиться ко мне».

Я пошла к нему и все рассказала. На следующий день он пригласил меня позавтракать, вручив сумму, покрывающую мой долг. Когда я снова начала петь, то расплатилась со своим благодетелем. Вскоре наступил мир. Я опять зарабатывала большие деньги и первый раз в жизни купила себе слитки золота, которыми любовалась по ночам и держала у себя под рукой.

Однажды мне позвонил тот человек, который спас меня во время войны: «Эдит, у меня наклеивается одно исключительное дело, но мне не хватает некоторой суммы. Не могли бы вы теперь меня выручить?»

Я не сомневалась, что он вернет мне деньги как только сможет. Но для этого мне нужно было продать мое золото, а эти дьявольские слитки меня околдовали. И я, отлично понимая

свою подлость, ответила моему спасителю: «К сожалению, нет. Не могу». И повесила трубку.

Я должна была убедиться, что справедливость существует: знаменитое золото уплыло из моих рук без всякой надежды на его возвращение!

Через две недели после этого разговора человек, с которым я тогда жила, сбежал без всякого предупреждения. Он унес с собой не только мои иллюзии, но и все мое золото, эти мерзкие слитки.

Я не заявила об этой краже в полицию. Я решила, что Бог меня наказал за то, что я согрешила один раз, один-единственный раз в жизни, против лучшей человеческой добродетели: против щедрости!

Петь, чтобы жить

Мои песни!

Что я скажу о своих песнях? Мои мужчины, как бы я их ни любила, всегда оставались «чужими». Мои же песни — это я, моя плоть, кровь, моя голова, мое сердце, моя душа. Да и как говорить об этом? Разве что обвиняком, рассказав о тех, кому удалось помочь стать большими певцами, любимцами публики. Рассказав о талантах, которые мне удалось открыть у совсем еще неизвестных людей, о непреодолимой силе, заставлявшей меня толкать их на путь успеха.

Я расскажу о дружбе.

Верят только богатым, я знаю. Мне приписывали многих любовников и с достаточным бесстыдством, чуть ли не под пыткой, выспрашивали меня о них. Я же отвечала: «Этот? Он никогда не был моим любовником. Да, совершенно верно, я сделала все, чтобы выдвинуть его. Почему? Да просто потому, что он талантлив!»

Я сворачивала горы, компрометировала себя для тех, кому хотела помочь.

Но я рада, что могла рисковать ради своих друзей. Если я умру раньше них, то, когда их имена будут сверкать на фасадах мюзик-холлов, это будет в какой-то мере и мое имя.

Поскольку до сих пор история моих романов была полна превратностями судьбы, пересуды и сплетни меня не щадили.

Я ведь не очень-то красива. Но стоило мне появиться в общественном месте с каким-нибудь мужчиной, его немедленно считали моим любовником. Как будто других отношений между мужчиной и женщиной и быть не может. Ну что ж, давайте! Прибавим к списку моих возлюбленных тех, кого я поддерживала своей дружбой.

Идите же! Монтан, Азнавур, Эдди Константин, Феликс Мартен, Шарль Дюмон...

Последний мой муж Тео. Но это уже совсем другая история, я берегу ее под конец.

Ах, я совсем забыла: «Компаньон де ля Шансон», хотя я все же не хотела бы, чтобы мне приписывали семь любовников сразу.

Об Ив Монтане мне хотелось бы рассказать подробнее. Мне кажется, что моя прежняя откровенность заставит вас поверить и тому, что я расскажу о нем.

Я очень люблю во всем ставить точки над «и».

Что же произошло между Монтаном и мной? Вначале я его не переносила: он был для меня одним из тех невыразительных артистов, которые появились в Париже в сорок четвертом году. Он пел ковбойские песни, подражая Шарлю Трене. Я полагала, что он похож на «взломщика», его самонадеянность меня раздражала, и я говорила о нем: «Не знаю, что вы в нем находите? Поет он плохо, танцует плохо, у него нет ритма. Этот тип — ничто».

Однажды, в первом отделении программы, которую я тогда составляла, оказалось свободное место. И я позволила уговорить себя тем, кто так настойчиво рекомендовали мне Монтана. «Вы увидите, у него большие возможности», — говорили они.

Убежденная лишь наполовину, я отправилась его слушать. И, не слишком разочаровавшись, сразу почувствовала, что он может достигнуть многого.

После его выступления я зашла к нему в уборную и произнесла свое *mea culpa* (моя вина): «Выслушайте меня внимательно, я всегда признаю свои ошибки. Я была не права, ругая вас. Если вы будете работать, если вы послушаетесь моих советов и согласитесь слепо мне подчиняться, если вы измените жанр и откажетесь от песен Дальнего Запада, через год вы станете откровением послевоенного времени. Я вам обещаю это».

Вот чем особенно обязан мне Ив: я заставила его изменить репертуар. Все они одинаковы, эти молодые люди, когда дебютируют как певцы. Они либо делают что-нибудь смешное, либо поют циничные песни, чтобы ошарашить публику. А я всегда говорила: «Вы никого не поразите. Есть только единственная прекрасная вещь на свете — это песни о любви!»

В тот вечер Ив Монтан не был в восторге от моего предложения. Он, конечно, согласился — иначе он поступить не мог, но особенного энтузиазма не проявил. Его репертуар не нравился мне, а мой — ему. Реалистические певицы его попросту смешили. Однако на следующий день, прослушав мою новую программу, он сказал: «Я повинуюсь вам, Эдит Пиаф».

Я поняла, что он тайком пришел послушать меня и был неожиданно тронут.

Но дальнейшее бывало порой драматичным. Он уже снискал некоторую известность, а внезапно изменив жанр, потерял часть своей публики. Его больше не узнавали.

Во время турне по Франции, «обкатывая» новый репертуар, он был ошикан. Его прежние поклонники кричали, свистели, требовали ковбойских песен.

Невозмутимый, но уязвленный, он посмотрел в сторону кулисы, где стояла я. Когда занавес наконец опустился, он саркастически произнес: «Ну, ты довольна, Диду? Ты выиграла!» И тут же добавил: «Ничего. Я чувствую, что ты права».

Мало-помалу между нами завязались довольно странные отношения. Подобно маленькому мальчику, который ревнует свою учительницу, Ив начал меня ужасно ревновать, когда я занималась кем-то помимо него.

Я ничего не могла поделать. Он от меня не отставал. Когда какой-нибудь мужчина подходил ко мне слишком близко, Ив от ярости сходил с ума, поднимал его на смех: «Разве ты не видишь: это же ничтожество, ты зря теряешь время, будет еще одно разочарование».

Я находила, что это переходит границы, и отвечала: «Но это мое дело, не так ли? Я же не вмешиваюсь в твои дела. И поступаю так, как хочу».

Впрочем, несмотря ни на что, меня забавляло, что этот здоровяк таскается за мной везде, как верный телохранитель. Я подшучивала над ним, разыгрывала телефонные разговоры с воображаемыми собеседниками и наблюдала за его лицом; делала вид, что прячу чьи-то письма, но так, чтобы он обязательно заметил. Согласна, это было довольно жестоко. Но ведь я не ангел, и это уже давно известно всему миру.

Поскольку он терпел мои безобразия, я еще подливала масла в огонь: рассказывала ему о своих приключениях.

В это время за мной ухаживали два очень красивых молодых человека. Я не знала, кого предпочесть: мне нравились, к стыду, оба. Однажды вечером, когда я сидела у себя в гостиной с одним из них, пришел второй. Чтобы избежать столкновения, я пихнула первого в шкаф. Он просидел там запертый на ключ четыре часа. Тем временем, что-то заподозрив, второй гость сказал: «У вас творится что-то странное». Я кокетливо возражала, он мне не верил и принялся обшаривать квартиру. Воспользовавшись этим, я открыла шкаф и сказала своему пленнику: «Быстро прыгай в окно!» Он послушался и выпрыгнул, — правда, с первого этажа.

Когда я рассказала эту историю Иву, он сухо заметил: «Я бы на его месте тебя задушил!»

Я захохотала, но поняла, что с такими, как Ив, без большого риска шутить нельзя.

Мне пришлось испытать это на собственном опыте.

Ив не любил Анри Конте. Они ненавидели друг друга, и я была вынуждена обещать Иву никогда не встречаться с Анри.

Однажды утром, когда я была уверена, что Ив репетирует в гостиной, раздался телефонный звонок... Спрятавшись в углу и прикрывая рукой трубку, чтобы заглушить голос, я ответил: «Договорились, Анри, жду тебя в три часа».

Ив появился именно в этот момент и спросил: «Ничего важного?» Я покачала головой. Он казался очень спокойным, говорил о своей программе. Я же думала, какую найти причину, чтобы выпроводить Ива до моего тайного свидания с Анри. Вдруг он сам пришел мне на помощь и вывел меня из затруднительного положения, спросив: «Ты не рассердишься, если я уйду на часок?» Он ушел. Я, по крайней мере, этому поверила: слышала удаляющиеся шаги, потом захлопнулась дверь.

Облегченно вздохнув, я стала поджидать звонка Анри. Когда он пришел, мы расположились в маленькой гостиной. Болтали, шутили, говорили об Иве. Анри сказал: «Он совершенно бездарен. Из этого маленького бойскаута никогда ничего не получится!» А я, чтобы позабавиться, его подстегивала: «Да, ты прав, Анри. Это бревно. Пожалуй, я в нем ошиблась».

Анри был в восторге. Уходя, он, в свою очередь, взял с меня обещание не возиться больше с Ивом: «Ты напрасно теряешь время. Твой Ив никогда не соберет зал!».

Проводив его, я вернулась в гостиную, и — там ждал меня Ив. Вот когда я чуть не умерла от стыда. Его рука была в крови: он с такой силой сжал стакан, что раздавил его. Ив предупредил меня «белым» голосом: «Никогда больше не делай этого, потому что в следующий раз я могу не сдержаться. Ты хорошо позабавилась. Я готов был тебя убить!»

Это было ясно.

Я прекратила свои игры с ним. Чтобы загладить вину, я поклялась, что он будет знаменит.

Особого труда мне это не стоило. Он хотел этого еще больше, чем я, и работал, не жалея себя. Его ничто не останавливало. Он мог позвонить мне в четыре часа утра, чтобы сообщить: «Знаешь, Эдит, я нашел потрясающий жест!» И через несколько минут приходил мне его продемонстрировать.

В начале работы с ним я сказала: «У тебя плохая дикция». Он часами декламировал стихи или пел перед зеркалом, держа во рту карандаш. Не смейтесь, попробуйте сами — увидите, как это трудно.

Он часами репетировал у меня свои программы. Я поправляла его жесты, делала указания относительно звучания голоса. Я научила его выходить на эстраду, кланяться. Но он никогда не был доволен собой. Он был одним из редчайших артистов, способных работать чуть ли не десять часов подряд. У него всегда была и осталась поразительная работоспособность. И кроме того, в нем была такая сила, такая чистота, что его нельзя было не уважать. Даже я не могла долго подшучивать над ним.

Наконец он дебютировал в моей программе. Он выступал непосредственно передо мной и пел «Бетлинг Джой», «Большая Лили» и две песенки, которые я написала для него: «У нее глаза...» и «Почему я так ее люблю?».

Он чуть было не подвел меня: его буквально не отпускали со сцены, и мне, выступавшей сразу после него, пришлось лезть из кожи вон, чтобы заработать собственный успех. Но я была счастлива, я сказала ему: «Теперь ты готов. Отныне твое имя можно печатать на афише большими буквами!»

Он начал готовиться к самостоятельному дебюту в театре «Этуаль». Он работал как зверь, чтобы достигнуть совершенства. В течение восьми дней перед его премьерой я приглашала весь Париж: закрывшись в своей комнате, сделала более четырехсот телефонных звонков с сообщением: «Я выпускаю на дебют одного мальчика. Приходите и вы услышите».

Нервы у нас с Ивом были натянуты до последней степени. Мы знали, что играем на его судьбу. А что выпадет: орел или решка?

За несколько часов до выступления я взяла его за руку и сказала: «Пойдем, Ив, помолимся за тебя». Мы пошли и церковь. Потом, когда он уже находился далеко от меня, я

всегда перед его премьерой получала от Ива телеграмму с одним и тем же текстом: «Дебют сегодня вечером. Пойди в церковь и помолись за меня».

Но так молиться за победу моего друга, как в этот вечер, я молилась только за Марселя Сердана — за то, чтобы он стал чемпионом мира.

Наконец Ив вышел на сцену. Это было в октябре 1945 года. Весь Париж ответил на мои приглашения и заполнил театр «Этуаль». Я сидела в ложе вместе с семьей Монтана.

Когда он появился в луче прожектора, зал ответил гробовым молчанием. Париж оказывал новой «звезде» ледяной прием.

Ив начал петь. С пересохшим горлом, с колотившимся сердцем я слушала и молила небо помочь ему, ведь он это заслужил.

Когда Ив закончил первую песню, он застыл перед молчавшими зрителями. Он ждал приговора. Я в своей ложе зубами разорвала носовой платок.

Вдруг — грохот аплодисментов и крики «браво!». Это был триумф! Триумф, о котором говорили потом в течение трех месяцев. Триумф, которого никто из присутствовавших не забудет никогда.

В этот вечер я подумала, что, может быть, Ив простит меня.

Иметь мужество

Злополучные годы! Их было достаточно в моей жизни. 1949 — смерть Сердана.

1958, 1960... — автомобильные катастрофы, операции, болезнь, которая прочно обосновалась во мне. А также — разочарования, разрывы...

Говоря по правде, когда приближается несчастье или смерть, друзья рассеиваются.

Не так давно я произвела отбор среди людей, которые долго крутились около меня. Суровый отбор. Чтобы потом не слишком страдать от неблагодарности многих из них, я вычеркнула их из своего сознания и из своей жизни.

И все-таки я очень нуждаюсь в окружении друзей, и чем больше их, тем лучше. Без них у меня начинает кружиться голова, я теряю уверенность в себе и тогда не могу петь. А петь мне необходимо, потому что это моя жизнь. И песнями я не только зарабатываю, — просто если я не смогу петь, я не смогу жить. О чем думают врачи, когда они говорят мне: «Вам нельзя больше петь, Эдит, вы себя убиваете!»

Сколько раз слышала я эти слова! И когда от слабости должна была прислониться к роялю или держаться за микрофон, и когда теряла сознание на сцене, и когда машина скорой помощи увозила меня в Нейи в Американский госпиталь. И сейчас опять...

Но мысль, что я не смогу больше петь, нестерпима для меня.

Ведь я уже однажды пробовала бросить, я думала: хватит! Мне становилось страшно! Так страшно оттого, что могу навсегда потерять голос! Целыми днями я лежала в надежде, что мои силы вернуться, силы, которые мне были необходимы, чтобы петь.

Я дошла до такой слабости, что не могла даже сама взять телефонную трубку. Стоило мне попытаться сесть, как моя комната, мебель, безделушки начинали кружиться, как чертово колесо.

У меня было такое чувство, будто из меня все вытряхнули. Я пыталась петь — через несколько тактов срывался голос.

Даже мой смех, мой знаменитый смех, превратился из вызывающего в жалкое хихиканье.

Спасло меня дружеское участие одной незнакомки.

Я была дома совсем одна, забытая всеми. Не знаю, откуда нашлись у меня силы встать, пройти через всю комнату к входной двери, когда раздался звонок. Я открыла.

Совсем молоденькая девушка, такая взволнованная, что даже не узнала меня, протянула букетик фиалок, прошептала: «Для мадам Эдит Пиаф!» — и тут же бросилась бежать.

Я вдохнула запах этих крохотных свежих цветов, и слезы ослепили меня, — я задохнулась от рыданий.

И тут же мной овладело такое желание, такая неистовая потребность петь, петь для всех моих незнакомых зрителей, моих незнакомых друзей, которые начинают аплодировать мне прежде, чем я успею раскрыть рот. Они, может быть, и есть самые лучшие мои друзья, они будут искренне плакать, провожая меня в последний путь. Конечно, если они к этому времени не разочаруются во мне.

И я не хочу их разочаровывать.

Ведь для того чтобы не обманывать их ожиданий, я часто выступала преодолевая себя, не думая о своем здоровье.

И как я ненавидела те вечера, когда, пропитавшись наркотиками или выпив слишком много, я не приносила им радость — моих песен!

Это всегда было сильнее меня, сильнее благоразумия: я должна была петь.

Иногда я просматриваю старые газеты: вот меня на руках уносит мой импресарио, тут меня поддерживает моя секретарша, а здесь я свалилась на постель, страшная, растрепанная, сломленная...

Подписи к фотографиям: фестиваль прерван... Пиаф заболела на сцене... Пиаф исчерпана... Снова болезнь... Жизнь Пиаф в опасности... Она погибает... Ее увозит скорая помощь... Опять переливание крови... Пиаф убивает себя своим пением...

Я вспоминаю все те битвы, которые я вела, сражаясь с болезнью и со смертью, тяжелые схватки, которые надо было вести одной, даже если друзья стояли у изголовья.

Но я была вознаграждена за свою выносливость.

Спустя несколько дней читаю: Пиаф все-таки поет!.. Появление Пиаф на сцене — чудо? Да! Но какой удивительный пример любви, жизнерадостности, мужества!.. Она будет петь до самого конца. Сколько мужества в этой маленькой женщине!..

Мужество, да, я всегда хотела его иметь. Говорят, это свойство мужчины. А по-моему, женщины проявляют больше стойкости в трудные минуты.

Лично для меня это привычное дело. Мое познание жизни не проходило в розовом свете.

Но чтобы вспоминать прошлое, мужества не надо. Я должна призвать его для настоящего.

Последняя глава моей жизни.

Звучит несколько похоронно. Может быть, потому, что сейчас я опять больна, но мне кажется, что с каждой новой вспышкой болезни я все больше отрываюсь от жизни, как будто веревка, на которой я повисла над пропастью, неумолимо развязывается.

Нет, я не пессимистка. Я так счастлива с Тео... Я бы хотела, чтобы это длилось долго-долго, чтобы счастье мое продолжалось во всем: Тео, мои песни, успех, выздоровление.

И все же, хотя я и верю в чудеса и могла бы почти за полвека своей жизни вспомнить тринадцать или четырнадцать случаев, свидетелем которых была, все же я должна бесстрашно глядеть в зеркало. Этот маленький паяц с нетвердой походкой, с нарушенными телодвижениями, с преждевременно постаревшим лицом — вот кого я вижу... Я несусь на себе неумолимую печать той, которая, увы, всегда приходит на назначенное свидание. Мне надо много мужества, чтобы говорить о Тео Сарапо. О том, кто мог бы быть моим сыном, которого у меня так и не было... О Тео, так любимом мною.

Еще один? Нет, последний. По крайней мере, если он не бросит меня.

Я ведь переходила от одного мужчины к другому только потому, что всегда ждала и надеялась найти одного, единственного, — того, кто по-настоящему будет ласков со мной, нежен, мил, верен. В глубине души, за моим внешним цинизмом, у меня сердце мидинетки, хотя мою жизнь нельзя рассказывать маленьким детям.

И когда я наконец нашла того, кто попросил меня стать его женой, мне — для того, чтобы решиться сказать «да», — понадобилось гораздо больше мужества, чем для преодоления всех моих несчастий, нищеты, болезни, злобы завистников, хотя и тщетной.

Я слишком хорошо понимала, что нас ждет скандал: Тео было двадцать семь лет, а мне сорок семь.

И это действительно, был скандал! Потоки чернил лились на сплетни, насмешки и даже оскорбления. Но я все это уже испытала, я была закалена и смеялась даже над тем, что стала объектом жалости. Сейчас, когда моя жизнь висит на волоске, и я это знаю, вся эта суета меня больше не трогает, потому что это не главное.

Самое главное — любить, быть любимой, счастливой и быть в согласии с самой собой. Теперь я знаю, что сделала правильно, согласившись выйти замуж за Тео: я счастлива.

Но думать, что я стремилась к этому и сказала «да» без сомнения, без размышлений и угрызений совести, значит думать обо мне хуже, чем я есть.

Всеобщее возмущение, которое было вызвано этим неравным браком, могло навсегда погубить мою карьеру, могло уничтожить меня.

Но я пошла на этот риск не потому, что этого «требовала моя плоть», и не потому, что «ослабела от болезней», не от тоски одиночества. И уж, конечно же, не потому, что, как говорили злые языки, хотела поддержать свою популярность, ибо спрос на мои пластинки падает.

Все гораздо проще, гораздо «сенсационнее»: Тео меня любил, я любила его, и я его люблю...

Сон, предназначенный мне

В первый раз, когда я его увидела, он не произвел на меня сильного впечатления. Он пришел с одним из моих друзей.

За весь вечер Тео не произнес ни одного слова. Когда он ушел, я подумала: «Не очень-то он ловок, этот мальчик!»

Снова я увидела его в феврале 1962 года. Я заболела двусторонней бронхопневмонией, и меня срочно отправили в клинику. Тео навещал меня каждый день. Он читал мне вслух романы, покупал мне маленьких куколок, приносил цветы.

Именно тогда и родилась наша любовь. Нам было хорошо вместе, — ничего больше. Это было неожиданно и прекрасно.

Но как я могла даже подумать о браке? Я говорила себе: «Это невысказано». И остерегалась строить планы на будущее.

Как будто едешь в поезде, и вдруг открывается сказочный пейзаж: идеальная местность, где хочется жить, построить себе дом... Но ты знаешь, что поезд не остановится и пейзаж вскоре исчезнет.

Я думала: «Тео встретит другую женщину, женщину его возраста. И с ней он будет строить свою жизнь. Это естественно. А я... я все-таки испытала его любовь».

Я выписалась из клиники. Он переехал ко мне.

Однажды мы сидели с ним в моей большой гостиной на бульваре Ланн, всегда такой пустой, и Тео показался мне каким-то непривычно серьезным.

Я спросила его: «Что с тобой?» Он ответил: Если я попрошу тебя выйти за меня замуж, ты согласишься?»

Я была до такой степени потрясена, что нервно захохотала. Но сразу же стихла, заметив, что Тео побледнел. Я потрепала его за волосы и постаралась объяснить как можно нежнее: «Ты же совсем мальчишка, у тебя вся жизнь впереди. Когда-нибудь ты встретишь другую женщину, молодую. Ты с ума сошел».

Но это ничуть его не утешило, даже наоборот. Тогда я добавила: «Слушай, женщина моего возраста не может с такой легкостью, просто так, выходить замуж. Она не имеет ни права, ни времени обманываться, особенно после той жизни, которую вела я. Прошу тебя, дай мне подумать». Он согласился: «Хорошо, я буду ждать твоего ответа сколько хочешь».

Я заставила его ждать месяц!

Но ни на минуту за весь этот месяц я не переставала думать о его предложении.

Конечно, я любила Тео. Чувствовала к нему бесконечную нежность, и он был так мил со мной. А потом, не могу не признаться, у меня еще было чувство гордости: я покорила юношу его лет. Но выйти замуж!

Я, которая незадолго до знакомства с Тео ссорилась со своей подругой Франсуазой из-за того, что она влюбилась в человека гораздо моложе, чем она. Я называла ее сумасшедшей, безрассудной, я даже злобно кричала ей: «Неужели тебе не стыдно появляться на улице под руку с человеком, который годится тебе в сыновья? Неужели тебя не смущают взгляды прохожих?»

И вот теперь моя очередь...

Гордость моя восставала. По ночам я часами лежала с широко раскрытыми глазами, спрашивая себя: «Выйти за него замуж? Он такой добрый, такой внимательный! Второго такого я больше не найду». А через пять минут я говорила себе: «Одумайся, Эдит! Через десять лет тебе стукнет пятьдесят семь, ты будешь пожилая женщина, а ему исполнится только тридцать семь — мужчина в расцвете сил. Чем станешь ты для него? Может быть, просто тяжелой обузой...»

Была еще и другая причина, которая перевешивала в сторону «нет»: я боялась семейной жизни. Мне казалось, что я не создана для нее, у меня отсутствовали необходимые качества хорошей жены. Я никогда не умела устраивать дом, не умела стряпать. Мебель, ковры, безделушки — все это совсем не интересовало меня.

И потом, мое первое замужество, казалось бы, более нормальное, было неудачным, хотя мы и любили друг друга. И Жак был очень милый, понимающий, очень терпеливый. Но наша профессия разъединила нас.

А ведь Тео тоже поет, снимается, он будет делать карьеру...

В день своего первого развода я поклялась себе никогда не возвращаться к подобным экспериментам...

Выходить замуж, чтобы через несколько лет остаться еще более одинокой?

И наконец, самое важное: способна ли я сделать человека счастливым? Хватит ли у меня на это сил?

У меня всегда был невыносимый характер, капризный, ревнивый. А когда я ревную, я могу бог знает что натворить. Я с трудом переношу, когда мной командует мужчина, и всегда стараюсь противопоставить ему свою волю. Я упряма, и на меня часто нападает дух противоречия.

Честно подсчитывая все «за» и «против», я со всей ясностью убедилась, насколько больше этих «против» по отношению к данному браку.

И все-таки я сказала Тео «да».

Мне приснился сон, который толкнул меня на этот шаг.

Как можно ставить на карту свою жизнь из-за какого-то сна? Скептики этого понять не в состоянии. Но вся наша жизнь состоит из случайностей, счастливых или несчастных, против которых человеческая воля почти бессильна.

До сих пор сны давали мне хорошие советы и делали разумные предупреждения. Почему же не прислушаться и к этому? Разве я не подошла к тому рубежу своей жизни, когда особенно нечего терять, а выиграть еще можно? В том числе и чудесную совместную жизнь с молодым, красивым, сильным человеком, который к тому же необыкновенно ласков со мной. Его руки будут достаточно нежны, когда придется закрыть мне глаза, а при моем состоянии здоровья надо быть готовой ко всему.

Я вам уже рассказывала о том сне, когда звонит телефон и никто не отвечает, — сне, который обязательно предвещает мне разрыв с любимым. После того как Тео просил меня быть его женой, каждую ночь я ждала возвращения этого страшного сна.

Прошел целый месяц. Наступил, должно быть, последний день июня. Мне опять снился этот сон: раздается звонок, я снимаю трубку... и впервые на мое тревожное «алло» мне отвечает голос. Это голос Тео.

Но даже такой сон не убедил меня до конца. Я спрашивала себя: «Кто ты такая, чтобы в твои годы претендовать на право быть счастливой?»

Женщина, которая коллекционировала любовников и несчастную любовь.

А твоё здоровье, которое ты растратила, проводя ночи напролет и кабаках, не соблюдая никаких режимов, предписываемых тебе врачами?

Ты устала, ты истрепана куда больше, чем любая женщина твоих лет.

В результате — малейший сквозняк на неделю приковывает тебя к постели, стоит тебе сделать несколько шагов, и ты уже валишься от усталости, малейшее нарушение режима приводит к продолжительной болезни, и с каждым разом тебе все труднее восстанавливать свои силы.

Я говорила себе: «Ты натворила слишком много глупостей за свою жизнь. Ты заработала целое состояние и пустила его на ветер. Вместо того чтобы иметь собственную уютную квартиру, тебе не принадлежит ни мебель, ни даже рояль, которые стоят в твоей гостиной».

В сорок семь лет я находилась на той же точке, что и в шестнадцать, когда, покинув отца, отправилась петь па улицах. Другими словами, я так же одинока, но с меньшими иллюзиями, с меньшими надеждами и силами. «Чем же, по-твоему, все это кончится, как не катастрофой? Причем смерть — не самая страшная из них. А если вдруг ты превратишься в маленькую старушонку, разбитую болезнями, утратившую талант и без гроша за душой, на чужом иждивении! Ты, которая сама поддерживала других?»

Просматривая свои счета, я вынуждена была признать себя банкротом.

Вот почему я утопала в сомнениях.

Имела ли я право делить с этим мальчиком, чья жизнь еще только начинается, остатки моей — вконец истрепанной и разрушенной?

И в противовес всему этому — мой сон.

Уже рассвело, а в моих ушах еще звенел этот телефонный ЗВОНОК.

И тут все мои сомнения рассеялись.

Разве я не люблю его так, как только можно любить?

Когда Тео, которого я ждала с нетерпеливостью молодой девушки, утром повторил свой вопрос, я больше не колебалась. Я ответила «да». И ни о чем не жалею. Я люблю его. В конце концов, если это и может шокировать, то удивляться ведь нечему. Какую женщину моего возраста не ослепит любовь мужчины его лет?

А кроме того, когда я пытаюсь разобраться в своей любви, я нахожу в ней то, в чем жизнь отказывала мне до сих пор — материнское чувство.

Тео, его смех, его пылкость, его молодость, вызывают во мне ощущение, что он мой сын.

Ведь даже в самой чувственной любовнице всегда где-то в глубине души дремлет мать.

Только те, кто во всем видит зло, приходят от этого в ужас.

Я то очень хорошо знаю, что в моей любви к Тео мне не за что краснеть.

Если бы это было иначе, неужели я осмелилась бы поехать через несколько дней с Тео в Лизье, просить благословения у святой, которая в детстве вернула мне зрение?

Нет! Это было бы кощунством.

А мы с Тео вместе преклонили колени перед ее статуей. Я молила ее: «Подарите мне еще несколько лет счастья, которого я ждала всю свою жизнь и наконец нашла».

Не знаю, будут ли мне подарены годы. Знаю только, как бы коротки они ни были, пусть это будет один год, или даже несколько месяцев, я всегда буду благодарна Провидению. Я и этого недостойна. Большого мне не надо.

Я не знаю конца

С того дня, когда я сказала «да», до той минуты, когда православный священник возложил на наши головы свадебные венцы, меня не покидала мучительная тревога.

Я буквально пришла в паническое состояние, когда Тео сказал: «Я должен попросить у отца разрешения на наш брак».

Может быть это покажется очень глупым, но для меня согласие его родителей имело громадное значение. Мне так хотелось быть допущенной в его семью, быть с радостью принятой ею.

Тео предупредил меня, что отец его — человек очень строгих правил. «Какой будет ужас, — думала я, — когда Тео сообщит им, что собирается жениться на женщине, которая ему в матери годится!» Конечно, Тео успокаивал меня: «Даже если отец и не разрешит, Эдит, я все равно женюсь на тебе».

Но радость моя померкла бы. На всю жизнь у меня осталось бы чувство, будто я украла сына у родителей. Я-то слишком хорошо знала, что значит жить без отца и без матери!

Да, не очень-то легким был для меня день, когда Тео повез меня к своему отцу — 26 июля 1962 года.

Да и для него не легче.

Я говорила себе: «Если отец откажет, я приму это как знак судьбы. Значит, я больше не достойна счастья».

Мы взяли машину и поехали в Ла Фретт, где жили его родители.

За все время пути мы с Тео не обмолвились ни словом. Он держал мою руку в своей, он улыбался, но он был озабочен.

Наконец мы приехали. В маленькой гостиной находились его мать, отец и две младшие сестры, — Кристи и Кати. Все мне улыбались. Но всем было ужасно неловко.

Кати, однако, сломала лед. Она вдруг вскочила и поставила пластинку твиста. Кристи спросила меня, умею ли я танцевать. Я ответила, что нет. Тогда обе девочки бросились ко мне: «Идемте, мы вас научим».

Я очутилась посреди гостиной, прыгая и гримасничая, как девчонка, в компании этих подростков!

Вдруг я заметила, что Тео удалился и сад с матерью и отцом. Я подумала: «Ну вот, час пробил». Я вся окаменела, мне хотелось убежать, а пластинка все продолжала выкрикивать «йе-йе». Через окно я видела Тео, который что-то обсуждал с отцом, и мне казалось, что время остановилось.

У них были такие серьезные лица! Я думала, что месье Ламбукас не соглашается. Это было бы так естественно!

Наконец все трое пошли обратно, медленно, опустив головы. Я была уверена, что ничего не вышло, и у меня слезы подступили к глазам.

Когда они вошли в гостиную, месье Ламбукас пристально посмотрел на меня и сказал: «Тео просил моего согласия на ваш брак. Он — сын, уважающий родителей. Но он свободен и достаточно взрослый, чтобы самому отвечать за свои поступки. Меня это не касается. А теперь я хочу, чтобы вы знали: я очень рад принять вас в свою семью».

Я изо всех сил сдерживала слезы. Но когда мать Тео, на восемь месяцев моложе меня, сказала: «Эдит, называйте меня маман¹¹» — это было слишком, и я разрыдалась.

Успокоившись, мы весело пообедали.

Но занимали ли они, чья семейная жизнь была повседневным делом, всю радость, которую испытывала я.

Впервые за мою жизнь я сидела за столом с матерью, отцом, сестрами моего будущего мужа.

И я забыла свои годы. Я опять превратилась в ту девчонку, которая день за днем мечтала о счастье.

И еще я была потрясена той нежностью, с которой отец и мать относились к своему сыну. Раньше я не очень-то верила в существование материнской и отцовской любви.

¹¹ Мама (франц.)

Когда месье Ламбукас отозвал меня в сторону, чтобы поговорить о карьере Тео, я сразу убедилась в основательности его беспокойства. Он всю жизнь работал ради жены и детей. Он надеялся, что со временем Тео будет управлять его парикмахерской. А Тео выбирает такую рискованную, ненадежную карьеру — карьеру певца! «Но я вовсе не хочу мешать ему попытаться счастья. Только вы, вы одна можете ему сказать, есть у него талант или нет», — говорил он мне.

А нежность его матери? У меня ком подступал к горлу при виде ее безграничной нежности; мне, жалкой девчонке, брошенной в двухмесячном возрасте, эта женщина сказала: «Наш дом отныне — ваш дом».

Перед отъездом «тапан» сунула мне огромный пакет: абрикосы, персики, собранные в их саду... самые лучшие драгоценности доставили бы мне меньше наслаждения, чем эти скромные фрукты!

С этого дня мы с Тео проводили все воскресенья в Ла Фретт. После завтрака мы с мадам Ламбукас устраивались на диване; она вязала, а я занималась вышиванием.

Она не переставала говорить о своем Тео. Рассказывала мне шалости и проделки, которые он вытворял ребенком; рассказывала, как он двадцать девять месяцев провел в Алжире и вернулся оттуда похудевшим на двенадцать килограммов.

В день нашего обручения, которое мы праздновали в Ла Фретт, мы назначили и день нашей свадьбы — девятое октября.

Моя будущая свекровь заплакала, и я, неправильно истолковав эти слезы, спросила ее в упор: «Тебя так коробит разница в нашем возрасте? Скажи честно!». Она с нежностью посмотрела на меня и сказала: «Вы можете составить очень счастливую пару. Конечно, мой Тео еще большой ребенок, непоседливый и шумливый. Но я знаю, он любит тебя всем сердцем. Возраст не имеет значения. Ты увидишь, Эдит, вы будете отлично дополнять друг друга».

Его сестры тоже очаровательно вели себя со мной.

Как ни странно, эта свадьба, которая должна была вызвать насмешки, оскорбления и даже расхолодить моих зрителей (а значит, грозила мне разорением), — эта свадьба привела всех в наилучшее настроение!

И все-таки моя тревога все увеличивалась по мере того, как приближался назначенный день.

Меня неотступно преследовали эти две цифры:

47... 27... Мой возраст и возраст Тео. 47... 27...

Дни шли. Настал день церемонии в мэрии. Мне оставалось не больше двух часов до того, чтобы под руку с Тео предстать перед чиновником, совершающим записи актов гражданского состояния, и поставить свою подпись в книге браков.

Тео пришел меня причесать, а я занялась своим лицом. Черное шелковое платье было уже на мне. Я сидела перед зеркалом и вдруг разразилась рыданиями: я дошла до точки. Я бросилась на постель, Тео сейчас же кинулся ко мне: «Что случилось?» Я бормотала: «Нет, я не могу выйти за тебя замуж. Это безумие. Сейчас тебе, может быть, это причинит боль, но потом ты будешь мне только благодарен». Расстроенный, думая, что я сошла с ума, он машинально повторял: «Но почему, почему?» Тогда я подняла свое искаженное болью лицо, которое от слез стало еще страшнее, и закричала: «Но посмотри же на меня! Ведь я отрепье! Не женщина, а жалкая тряпка, которая еле держится на ногах. Ты не можешь жениться на «этом»!»

И я откровенно призналась ему в том, как прожила эту последнюю неделю. Неделю чудовищных страданий, которые я тщательно скрывала от него.

Все началось в ночь с третьего на четвертое октября. Я проснулась, корчась от боли. У меня было ощущение, будто мне раздробили левую кисть руки и обе ноги. Это был новый приступ суставного ревматизма. Несмотря на мучительную боль, я не хотела будить Тео. Пусть он спит спокойно в своей комнате, в другом конце квартиры. Я не хотела его тревожить!

Я поднялась и позвонила своему доктору, умоляя его немедленно приехать. Мое психическое в нервное сопротивление было на исходе.

Когда через несколько минут он позвонил у дверей, я заставила себя пойти открыть и чуть не упала ему на руки таких это стоило мне усилий.

После быстрого осмотра он дал мне большую дозу кортизона, чтобы успокоить боль, и снотворное. В течение часа он ждал, пока я засну.

Наутро я ничего не сказала Тео. Вечером, совершенно измотанная, я даже пела с ним в Олимпии.

Вернувшись домой после концерта я сразу легла. Мои мучения возобновились, раздирая меня на части. Деформирующий ревматизм — это нечто ужасное. А я ведь собиралась выходить замуж. Через два дня, благодарение Богу, мой приступ кончился. Это было за три дня до церемонии. Силы мои восстанавливались. Однако испытания еще не кончились. В тот же день я простудилась, сама не знаю как и где.

Всю ночь у меня был страшный озноб, а когда я попробовала встать, рухнула на пол. Тут я все-таки вынуждена была позвать на помощь Тео. Он совершенно растерялся: «Что с тобой, Эдит? Что случилось?» А я еще пыталась жульничать. Ничего, мол, особенного, обыкновенный грипп, нечего устраивать драму. Своему врачу я приказала скрыть от Тео правду. Бедный эскулап был совсем озадачен. Он не осмеливался мне противоречить, но все это совсем не нравилось ему, тем более, что никто за мной не присматривал. Во всяком случае, он потребовал, чтобы я оставалась дома в постели до самой свадьбы, иначе он ни за что не ручается.

Но я всегда думала, что у сорной травы крепкие корни.

На следующий вечер, вместо того чтобы оставаться в тепле, я опять отправилась в «Олимпию» и пела. Присутствие Тео меня оживляло.

Но мое возвращение домой было весьма плачевно. Меня должны были поддерживать, иначе я не могла идти. Я не могла говорить, вся дрожала. Меня бросало то в жар, то в холод.

Когда меня наконец уложили в постель, я уже бредила — как мне потом рассказывали.

Вот какие воспоминания роились в моем сознании за два часа до того, как я должна была стать мадам Ламбукас.

И опять я твердила себе: «Да, правда, мы любим друг друга, но ведь моя жизнь висит на волоске. Разве не чудовищно с моей стороны привязывать к себе этого мальчишка, здорового и сильного, у которого вся жизнь впереди?» И я сказала Тео: «Боюсь, что не смогу сделать тебя счастливым. Все против нас».

Он дал мне договорить. Потом взял за плечи, встряхнул и твердо сказал: «Я хочу на тебе жениться, я хочу, чтобы ты носила мое имя. Ты боишься, что не сможешь меня осчастливить, а я боюсь тебя потерять. Я не хочу больше, чтобы ты думала о своем здоровье. Ты должна наконец лечиться как следует. Я буду о тебе заботиться. В этом заключается роль мужа — быть возле жены, когда она страдает. У тебя слабое здоровье? Я знаю. Разве ты не была больна, когда я признался тебе в любви? Они же все бросили тебя тогда, все разбежались, кроме самых верных. Я был так потрясен, я понял, что люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива».

Я даже слова не могла вставить. Мой Тео не сдавался: «Ты не хочешь растратить мою молодость? Ерунда. Я уже достаточно шатался целые ночи напролет. В двадцать семь лет пора начать более осмысленную жизнь, посвятить ее кому-нибудь. Я хочу посвятить ее тебе».

Если найдется хоть одна женщина, пусть молодая, цветущая, способная устоять против подобных заявлений, — тогда я ничего больше не понимаю ни в женщинах, ни в жизни, ни даже в самой любви!

Я не плакала больше, но внутренне раскаивалась. Я повторяла себе: «Ты не заслуживаешь этого. Ты растратила зря столько радости, ты исковеркала столько жизней, начиная со своей собственной».

Но Тео уже понимал, что он выиграл сражение. Опять засияла его улыбка, против которой я бессильна. И вдруг, вытирая мои глаза, он заворчал: «Придется тебя снова причесывать. Поторопись. Ведь нас ждут. Мы не поедем сегодня в свадебное путешествие, мы будем вечером вместе петь! А когда кончатся наши выступления в «Олимпии», я увезу тебя в Грецию».

Потом все случилось очень быстро. И хорошо, правда? Все мои счастливые песни — а у меня есть и такие — пели в моей душе. Пришел доктор, дал мне витамины и тонизирующее.

Я вышла под руку с Тео. На улице последний раз закружилась голова.

Люди, которые ждали меня... Нет, они не свистели! Они требовали, чтобы мы появились на балконе мэрии — здании XVI века.

Когда я вышла из церкви, где мы получили благословение на наш союз, толпа, моя толпа, кричала: «Да здравствует Эдит! Да здравствует Тео!»

В этот момент я перестала бояться за будущее. Будь что будет!

Тихонько, только для себя одной, я бормотала:

Пусть случится со мной невесть что,
Мне все равно!
Пусть случится со мной невесть что,
Мне наплевать!

Я была счастлива и готова продолжать свою жизнь, даже если, как поется в другой моей песне, «чем она кончится, — не знаю...»

